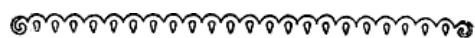
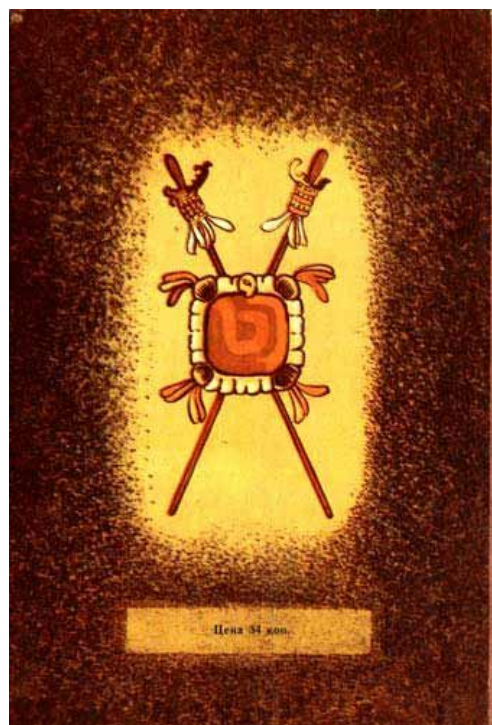
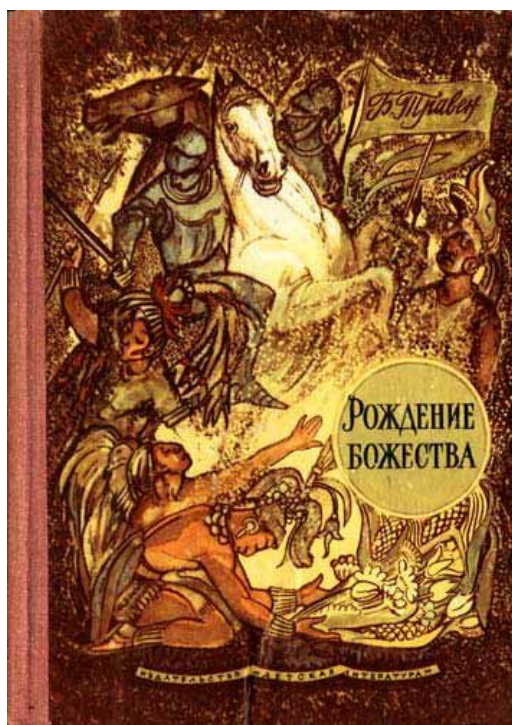


Бруно Травен

Рождение божества

Перевод с немецкого



Бруно Травен

РОЖДЕНИЕ БОЖЕСТВА

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО



МОСКВА

«Детская литература»

1972

Москва

«Детская литература»

1972

И (Нем)
Т65

ПЕРЕВЕЛА М. БАХРАХ
ПРЕДИСЛОВИЕ Р. БЕЛОУСОВА

РИСУНКИ Т. АЛЕЛЕКОВОЙ

Травен Бруно.

Т 65 Рождение божества. Пер. с нем. М. Бахрах. Рис. Т. Алелековой. М., «Дет. лит.», 1972.
112 с. с ил., 75 000 экз., 34 к., в пер.

Имя немецкого писателя-антифашиста Бруно Травена известно во всем мире. В 30-е годы он вынужден был покинуть Германию и долгие годы жил в Мексике. Эта страна стала его второй родиной.

Значительное место в творчестве Б. Травена мексиканского периода занимает атеистическая тема. В сборник «Рождение божества» включены рассказы-памфлеты, направленные против религиозной морали, против ханжества миссионеров. Церковники особенно неприглядны в сравнении с индейцами — с их представлениями о мире, о добре и чести.

7 - 6 - 3
378-72

И (Нем)

О БРУНО ТРАВЕНЕ

Много дней экспедиция доктора С. Г. Морли пробивалась сквозь мексиканские джунгли. На ее пути к городам древних майя, давно обезлюдившим и окруженным тропическими лесами возникали непроходимые заросли, где растет краснодеревная свитения и водятся ягуары и тапиры, встречались бурные потоки и скалистые белые утесы. Когда-то здесь, в лесах нынешнего штата Чиapas, существовала высокоразвитая цивилизация. Следы ее и пытался отыскать доктор Морли, исследователь культуры майя. В случае удачи - открытия древней пирамиды или храма — фотограф экспедиции должен был заснять находку, поскольку унести ее как доказательство открытия было невозможно. Фотографа звали Травен Торсван.

В Мексике он появился недавно. Называл себя шведом. Был молчалив, держался отчужденно. Только к молодому индейцу-носильщику Фелипе-Амадору Паниагуа относился неизменно доброжелательно, дружески. Подолгу швед просиживал у его костра, неспешно беседовал с ним и что-то записывал. Они были знакомы еще по предыдущему походу в Чиapas, предпринятому за два года до этого, летом 1926 года. Тогда Торсван, отделившись от основной группы, вместе с Паниагуа совершил многодневный переход через джунгли. Паниагуа любил петь песни своего народа, знал древние обычаи и старинные легенды. Для Торсвана, который питал самый живой интерес к прошлому и настоящему Мексики, юноша-индеец был находкой.

Не всем, однако, была по нраву дружба белого с индейцем. Это выглядело странным, так же как и сам Торсван казался странным, загадочным. Откуда он пожаловал? Зачем оказался в Мексике? Что заставляет его скитаться по джунглям?

На первые два вопроса таинственный фотограф предпочитал не отвечать. Ответ на третий вопрос можно найти в его книгах: «...тот, кто хочет познать душу дремучих зарослей и джунглей, их жизнь и песни, их любовь и смертельную ненависть, тот не должен жить в Реджис-отеле в Мехико, он должен углубляться в джунгли, любить их, обручиться с ними».

Травен Торсван стремился узнать душу страны, ее народ. Он жил среди лесорубов, добывающих драгоценное дерево каоба, среди сплавщиков, работал сборщиком хлопка, бурильщиком на нефтепромыслах, был погонщиком скота. Ему удалось проникнуть в становище индейского племени лакандонов, которое, спасаясь от полного истребления, укрылось в джунглях.

Где бы он ни был, Торсван делал записи, зарисовки мексиканского быта, в особенности жизни индейцев. Рукописные листы он хранил в небольшом сундуке, который всюду возил с собой. С годами записей становилось все больше. В сундуке скопилось целое сокровище - материал для будущих книг. Рассказы, новеллы, романы о жизни мексиканского народа, как потом признавался автор, создавались в периоды длительной безработицы. Он писал их для того, «чтобы не ощущать непрерывных мук голода и не вспоминать по шестьдесят раз в час о том, что против безработицы и пустоты в желудке несколько не помогают ни вера в бога, и славословие в честь капиталистической экономики».

Кто же в действительности был создатель этих книг? На обложке стояло: Б. Травен. Прошло почти полвека, прежде чем удалось раскрыть тайну этого псевдонима.

Никому не было известно не только подлинное имя писателя, но и то, где он жил. Никто никогда не встречался с писателем Б. Травеном. Его личность, подлинная биография много лет оставалась загадкой. Еще недавно в ответ на вопрос, кто такой Травен, можно было услышать: всемирно известный «неизвестный». Его называли многоликим, потому что у него были двадцать две «достоверные» биографии.

Одни утверждали, что под псевдонимом Б. Травен скрывается американский моряк, другие заявляли, что это бывший русский князь, по мнению третьих, он потомок династии Гогенцоллернов. Ходили слухи о том, что популярные романы написаны целым писательским концерном (дело дошло даже до оглашения имен и публикации фотографий). Наконец находились фантазеры, которые доказывали, что Травен — это не кто иной, как Джек Лондон, который симулировал самоубийство и скрывается, спасаясь от кредиторов.

Загадка писателя-невидимки Бруно Травена стала, пожалуй, одной из самых удивительных мистификаций нашего времени. Усердные литературоведы, дотошные репортеры и частные детективы не раз пытались проникнуть в тайну Б. Травена и охотились за каждым «подозрительным», в ком виделся им таинственный автор популярных книг.

Исследователи штудировали произведения Б. Травена, пытались отыскать какую-нибудь зацепку, которая позволила бы найти путь к разгадке. Не раз в газетах Запада появлялись сенсационные сообщения о том, что «загадка века» разгадана. Но все сенсации оказывались недолговечными. Каждая из них жила лишь до тех пор, пока не возникала новая. Одному мексиканскому журналисту, казалось, посчастливилось напасть на след таинственного Б. Травена. Луис Спота — так звали журналиста — решил навестить загадочного человека, который жил в Акапулько, модном курорте. Журналист проник в сад при гостинице и увидел скрытый в густой листве домик с черепичной крышей. Здесь под охраной свирепых псов жил странный отшельник. Не сразу удалось журналисту расположить к беседе обитателя дома, проявлявшего крайнюю осторожность. И все же кое-что выяснить удалось. Оказалось, что именно сюда в конце концов поступала вся корреспонденция на имя Б. Травена, проходившая через несколько промежуточных адресов и доставлявшаяся специально подобранными посыльными.

Обитатель дома назвался Торсваном. Что касается Б. Травена, то это, мол, его двоюродный брат, живущий в Швейцарии.

Однако после того как журналист напечатал рассказ о своем посещении отшельника в Акапулько, Торсван исчез. Намечившаяся было ниточка порвалась.

Более удачливым оказался другой разыскатель — Р. Рекнагель, литературовед из ГДР. В отличие от мексиканского журналиста он не пускался в путешествия, а вел свой розыск, изучая книги Б. Травена. Он тщательно проанализировал книги, сопоставил множество печатных сообщений и проследил путь скитаний Торсвана по Мексике. И оказалось, что маршруты фотографа Торсвана странным образом совпадали с описанием мест и событий, встречающихся в книгах Б. Травена. Предположить, что Торсван, выдававший себя за «уполномоченного» писателя, и сам писатель Б. Травен — одно и то же лицо, было вполне логично.

Как видите, Р. Рекнагель попал, что называется, в самую точку. А дальше последовала новая его гипотеза, позже также подтвердившаяся.

Он стал доказывать, что писатель, скрывающийся под именем Б. Травена, не является уроженцем Мексики. Его след вел через океан в Европу.

Р. Рекнагель высказал показавшееся всем неправдоподобным предположение, что Б. Травен — это забытый немецкий журналист Реет Марут. К такому выводу литературовед пришел на основе анализа текстов Реет Марута и Б. Травена, обнаружив при этом много общего в их стиле и еще — давнюю любовь к Мексике, у первого и косвенные данные о жизни в Германии — в книгах второго.

Шаг за шагом исследователь шел по пути к разгадке. Он проследил жизнь Реет Марута в Германии, узнал, что он издавал журнал, совмещая в одном лице его редактора и единственного автора. Со страниц этого журнала Реет Марут пламенно приветствовал Октябрьскую революцию, был полон надежд на то, что и в Германии пролетариат возьмет власть в свои руки. С энтузиазмом он встретил образование Баварской Советской республики в 1919 году. Рабочие избрали его в комитет по пропаганде. Когда республика пала, Реет Марута арестовали. Чудом ему удалось бежать. С тех пор он исчез...

Так постепенно из пестрой мозаики отрывочных биографических данных сложился портрет человека, жизненный путь писателя.

Возникает вопрос, почему же Б. Травен бежал от славы с таким же рвением, с каким другие стремятся к ней? Это походило на парадокс, казалось неправдоподобным в мире бизнеса. Почему же сам Б. Травен-Торсван не заявлял о себе, отчего так долго хранил загадочное молчание? Однажды, отвечая на подобный вопрос, заданный ему в печати, Травен заявил, что, по его мнению, биография творческой личности не имеет никакого значения, если автора нельзя узнать по его книгам. «У писателя, — говорил Б. Травен, — не должно быть иной биографии, кроме его произведений». А еще через несколько лет на вопрос, как он относится к небылицам, которые писали о нем, Травен ответил: «Все это дело рук журналистов. Они сделали меня мифической личностью. Я же, избегая встречи с ними, оберегал лишь свой покой и уединение. Я ненавижу рекламную шумиху вокруг моих книг».

Вопреки доказательствам Р. Рекнагеля вокруг писателя продолжали расти новые легенды. Их авторы заявляли, что именно им удалось наконец раскрыть тайну Б. Травена. Утверждали, что это некий Август Библие, исчезнувший перед первой мировой войной, немец, жизненный путь которого якобы напоминал путь Б. Травена. Появилась гипотеза, что под псевдонимом скрывается чешский литератор Артур Брейский, эмигрировавший в Америку и будто бы там умерший, а на самом деле воскресший под новым именем. Нашлись люди, которые вполне серьезно доказывали, что владелец «матросской таверны» в Западном Берлине, некий капитан Бильбо, настоящее имя которого Гуго Барух, и есть Травен. Неизвестно, как долго продолжались бы поиски и «открытия», если бы в 1969 году мир не облетело известие: в Мексике в возрасте 79 лет скончался писатель Б. Травен.

Завеса тайны над его именем перестала существовать. Вдова писателя выступила в прессе с интервью, в котором рассказала о муже.

Подлинное его имя, по ее словам, Травен Торсван Кровс. Родился он в 1890 году в Чикаго, в семье эмигрантов, выходцев из Скандинавии. С юных лет Травен остался сиротой, бродяжничал, был грузчиком, юнгой, кочегаром на судах, курсирующих между США и Европой. Жил в Германии, где под псевдонимом Реет Марут издавал журнал. «Всю свою жизнь, — заявила жена писателя, — он был революционером и антифашистом. Его книги нацисты сжигали на кострах. Он всегда боролся против несправедливости, за переустройство мира». Травен принимал активное участие в работе создаваемых новой властью революционных комитетов, после падения Баварской Советской республики бежал из Германии.

И в том же году появился под именем Травен Торсван в Мексике. Эта страна стала его второй родиной.

Травен жил под фамилией Торсван в столице Мехико, числился фотографом, изучал археологию в университете. Он увлекался древней цивилизацией — майя. Совершил несколько путешествий в джунгли, столь же увлекательных, сколь и опасных. Материалы, собранные во время путешествий, легли в основу его книг. До конца своих дней Травен работал над историей доиспанской цивилизации в Мексике.

Он любил Мексику и однажды признался, что с гордостью носит имя гражданина этой страны, любит ее народ и чувствует себя мексиканцем. В завещании писателя был особый пункт. Он просил тело его предать сожжению, а пепел развеять с самолета над джунглями Чиapas.

Трудовые люди Мексики — сезонные рабочие, крестьяне — стали героями книг Б. Травена. Его книги известны во многих странах, изданы десятками миллионов экземпляров, переведены на 36 языков народов мира.

Когда же впервые появилось писательское имя Б. Травен?

В 1925 году редакция берлинской газеты «Форвертс», получив из Мексики рукопись на немецком языке, опубликовала ее. Это был роман «Сборщики хлопка». С тех пор Б. Травен стал одним из любимых писателей немецких рабочих. Его книги высоко оценивал известный немецкий публицист К. Тухольский, признававший у

автора эпический талант большого масштаба. Видная современная писательница Анна Зегерс отмечала художественное и революционное значение произведений Б. Травена.

Знакомы с творчеством Б. Травена и советские читатели. На русском языке были изданы его романы «Сборщики хлопка», «Восстание повешенных», «Корабль мертвецов», «Клад Сьерры-Мадре», «Проклятие золота», «Поход в страну Каоба».

Б. Травен — социальный писатель. Роман «Корабль мертвецов» — гневный протест против буржуазного мира, где человек беспомощен и бесправен. В «Сборщиках хлопка», во многом автобиографичном произведении, беспощадными красками нарисованы картины эксплуатации и угнетения трудящихся мексиканцев.

В книгах из цикла, посвященного царству красного дерева — каоба, рассказано о том, как со всех концов Мексики сгоняют бедняков индейцев добывать для хозяев драгоценный товар — дерево каоба. В произведениях этого цикла мы встречаемся с индейцем Селсо. Добрый, славный малый, он становится грозным мстителем, руководителем восставших пеонов — сельскохозяйственных рабочих. Травен осуждает тиранию, расизм, показывает, как героический мексиканский пролетарий сражается за свое освобождение, за то, чтобы пробиться к свету.

Глубоко изучив историю страны, жизнь народа, обычаи, песни, легенды, писатель не мог не обратить внимание на подлинную роль испанских миссионеров в Мексике. Исторически верно изображает Травен «новообращенных» индейцев, коренных жителей страны, колонизированной Испанией.

Сборник рассказов «Рождение божества» — это первая книга Б. Травена на русском языке, издаваемая после того, как со смертью писателя перестала существовать и его тайна. На страницах этого сборника, антирелигиозного по своей направленности, мы встречаем простых, доверчивых индейцев, родных братьев многих героев книг Травена.

Это рассказы о Мексике начала века. Теперь, может быть, батраков не сажают заслушивание в колодец (как описано в рассказе «Странствия святого Антонио»), и многое в жизни индейцев переменялось с тех времен, о каких писал Травен, но недаром прогрессивная мексиканская печать отмечала, что ни один мексиканский писатель и ни один иностранец еще не изображал мексиканскую действительность с такой правдивостью, как это удалось Травену.

В рассказе «Рождение божества» читаем: «Я вполне убежден, нет и никогда не было на земле религии, в которой рождение божества или богов и тем самым все происхождение вероучения по существу не сводилось бы к простому и естественному житейскому факту».

Никаких чудес, ничего таинственного. Сон разума, незнание — вот почва, на которой возникают религии и боги. Иллюстрируя свою мысль, писатель рассказывает историю о том, как много лет назад индейцы обожествили коня, подаренного им Кортесом, завоевателем Мексики. Один из девятнадцати храмов в Тайясале индейцы посвятили никогда дотол не виданному животному, которого они называли Цимип Чак — Громовый Тапир. Они поклонялись каменному коню, как самые настоящие язычники, хотя испанцы обратили их в христианство.

С юмором, а подчас с едкой иронией рисует Б. Травен образы служителей католической церкви. Зато их паства — прихожане-индейцы написаны с симпатией и любовью.

Патер Бальверд из рассказа «Обращение в христианство» в споре с индейским вождем терпит поражение. Индеец отвергает белого бога, и все племя не приняло католической религии. Вот почему, с иронией замечает Травен, «нет никакой надежды, что когда-нибудь в раю крылатые трубачи и арфисты будут приветствовать это племя».

Индейцы наделены здравым смыслом и знают, что «никакая молитва не поможет вырасти мертвому дереву» («Пойманная молния»). Они выполняют предписанные чужой религией обряды точно, но чисто механически. Неграмотные, они плохо разбираются в тонкостях веры и молятся, как бог на душу положит — досочиняя собственные слова молитв («Сообщники»).

Житейская мудрость и практический опыт оказываются более верными и надежными помощниками в их многотрудной жизни, чем слепая вера. Неудивительно, что они то и дело совершают «кошунства» по отношению к святым, обходятся с ними, как с простыми смертными. «Если бы каждый индеец, — пишет Б. Травен, — вообще сознавался во всем им содеянном, вряд ли хоть один самый снисходительный служитель божий рискнул бы даровать ему отпущение грехов».

Для героев рассказов Травена религия, когда-то навязанная завоевателями, так и осталась чем-то далеким и чуждым. В сущности своей индейцы — это дети природы, бесхитростные, правдивые и честные.

Таковы и церковный служка Киприано («Пойманная молния»), и беглый поденщик Сильвестре («Странствия святого Антонио»), и индейский вождь («Обращение в христианство»), и деревенский дровосек из рассказа-притчи «Макарио».

Последний рассказ в сборнике — индейская легенда «Сотворение солнца». Не ее ли однажды записал у костра фотограф Торсван со слов своего друга Паниагуа? А может быть, он услышал ее от лесорубов или от погонщиков скота во время перехода через Сьерру? Это прекрасная поэтическая легенда об извечной борьбе добра и зла, о мужестве, верности, о величии подвига.



ПОЙМАННАЯ МОЛНИЯ



Священнику одной индейской деревни потребовалось поехать в столицу страны, чтобы выслушать наставления епископа. Деревня эта находилась в стороне от железной дороги, поэтому священник совершал свое путешествие верхом на муле. Чтобы не слишком утомлять себя, он в таких случаях проезжал за день только расстояние от одной гасиенды (*Гасиенда — поместье, имение*) до другой. Его всюду радушно принимали, и потому, подобно всем своим собратьям-священнослужителям, он отождествлял служебную поездку с приятной прогулкой, по его мнению честно заслуженной им в награду за многотрудную деятельность духовного наставника индейцев. Он предполагал, что поездка продлится несколько недель, и хорошенько благословил свою паству, чтобы сатана не мог собрать здесь богатый урожай, а хуже того — не угнездились бы вновь в праведных душах древние индейские боги, которые куда опаснее сатаны. Святой отец призвал своего служку, желая торжественно препоручить его бдительности и неусыпному надзору церковь со всем ее имуществом.

Киприано, церковный служка, как и все прихожане местной церкви, был индеец. Дровосек и угольщик, он ничем не отличался от остальных жителей деревни и был не лучше и не хуже других. Тем не менее он очень гордился своей должностью и не раз давал понять односельчанам, что на свете существуют только две воистину значительные личности — священник и церковный служка. Священнику без служки никак невозможно служить мессе, значит, служка — такая же важная персона, как и сам священник. По секрету Киприано даже намекал своим друзьям, что он, служка, пожалуй, еще важнее, но об этом ему не пристало распространяться, дабы не впасть в грех бахвальства.

Надо признаться, хотя священнику в его приходе, разумеется, оказывали должный почет, однако уважали и боялись не его, а Киприано. Священник был метис, а Киприано — чистокровный индеец, к тому же среди соплеменников он слыл еще и лекарем. Это вполне понятно. Ведь он был так же близок к богу, как священник, знал все таинства религии так же хорошо, как священник, так же имел беспрепятственный доступ в алтарь, а весь ритуал мессы выучил гораздо лучше священника, который, случалось, запинаясь и вынужден был читать свои заунывные причитания по растрепанному молитвеннику. Киприано почти тридцать лет занимал свой пост, служил при трех священниках, предшественниках нынешнего. Он наизусть затвердил все тягучее благочестивое богослужение, наперечет знал каждую бусинку на одеяниях святых, помнил в церкви каждый кусочек штукатурки и каждую выемку на стене, хранил в памяти дату каждого праздника и день каждого святого. Все прихожане, а дети и подростки в особенности, считали, что для религии с ее бесконечными и запутанными церемониями Киприано куда более необходим, чем сам священник.

Как обычно обращаются прежде всего к святым, если нужно добиться чего-нибудь от всевышнего, так и прихожане обращались к Киприано, если хотели чего-нибудь от священника. Свадьба ли, крестины, погребение — за советом шли к Киприано. Даже когда парням или девушкам полагалось исповедаться, они сначала адресовались к Киприано и выясняли у него, не смертный ли грех утаить или забыть какую-то вину и нельзя ли окольным путем сознаться в прегрешении, не называя ничего прямо.

Киприано умел всем дать совет и всем оказать помощь. Он был поверенным своих земляков в гораздо большей степени, чем любой самый лучший священник. По этой причине Киприано жилось сравнительно хорошо. Он получал тут курочку, там петушка, тут стаканчик теквилы (*Теквила — водка из агавы*), там сигару. А в день его именин накапливалось столько подношений, что их с избытком хватало на целый месяц.

Собравшись в дорогу, священник призвал Киприано и сказал:

— Как звонить, ты знаешь, тут мне тебя незачем учить. Днем церковь отворена, на ночь будешь ее запирать, как мы это всегда делаем. В воскресенье утром, в субботу вечером и в среду вечером, когда в церкви соберется народ, будешь петь молитвы. Вот тут я тебе помечаю псалмы, которые следует исполнить. Ты их все знаешь. И не забывай наполнять чашу со святой водой, когда она опустеет. Об этом ты тоже знаешь. А теперь самое главное. Сходишь в город, купишь красок и позолоты. Как следует отчисть фигуры святых от пыли и птичьего помета. Просто срам, как они запущены. Это воистину кощунство. А где краска облезла, ты ее подновишь. Но пресвятую деву над алтарем красить не нужно. Вымой ее хорошенько, а потом тщательно отлакируй бесцветным лаком. Он тоже продается в городе, в лавке. Впрочем, нет, не покупай ничего. Я все сам закуплю и оплачу, а ты придешь и получишь. Можешь даже отправиться со мной, я покажу тебе краски и растолкую, как их употреблять. А к моему возвращению у нас должна быть красивая, чистая церковь.

Распоряжение сеньора священника очень обрадовало Киприано. Индейцу представлялось удовольствием украшать церковь и разрисовывать фигуры святых. И он еще больше обрадовался, когда священник пообещал, что изволит дать ему восемь песо (*Песо — здесь серебряная монета*), если поручение будет выполнено умело и добросовестно. Значит, Киприано не понадобится ходить на работу в лес и можно будет все время уделять церковным делам.

Назавтра служба отправился вместе со священником в соседний городок, где получил краски и наставления, как ими пользоваться.

Пропустив стаканчик, чтобы празднично завершить день, индеец, довольный религией и всем миром, безмятежно затрусил на своем осле домой.

Он вернулся как раз к вечеру — не успел добраться до первой деревенской хижины, как мальчишки уже начали трезвонить в колокол.

Киприано принялся за работу на следующее же утро. Он вовсе не был живописцем, однако у него хватило здравого смысла — неизвестно, врожденного или приобретенного — действовать осмотрительно. Купленных красок оказалось в обрез, и поневоле приходилось быть бережливым, чтобы не израсходовать слишком много материала. К тому же ему хотелось увидеть, как ложатся краски, потому что указания сеньора священника и продавца москательных товаров были довольно расплывчатые. На пробу он взялся за Иуду Искарюта (*Иуда Искарот — один из учеников Христа, якобы предавший его за тридцать сребреников*). Вообще-то Иуда Искарот — святой только наполовину, его истинное отношение к господу до сих пор не вполне выяснено. Одни говорят, он предал и продал Христа и поэтому он негодяй и поделом ему уже около двух тысяч лет жариться в аду. Напротив, другие, те, кто глубоко вникает в священное писание, утверждают, будто Иуде Искароту сам господь бог повелел предать Спасителя, потому что, если бы Иуда Искарот не предал Спасителя, Спаситель не был бы схвачен, а если бы его не схватили, он не был бы распят и не сумел бы, приняв на себя бремя грехов всего мира, умереть, дабы спасти бедное человечество. Выходит, Иуда Искарот был необходим в качестве орудия господня для свершения святого чуда, и потому Киприано считал его, так же как и злодея-разбойника Варавву (*Имеется в виду разбойник, который, по евангельской легенде, был распят вместе с Христом на Голгофе*), полусвятым, который при случае замолвит на небесах доброе слово за несчастного индейца. Вообще никогда не следует всерьез ссориться с теми, чье имя упоминается в Библии, потому что кто его знает, не были ли они орудием господним, хоть, по видимости, и вели себя здесь, на земле, отнюдь не по-христиански. Обычно Иуда Искарот стоит, как провинившийся школьник, в темном углу церкви, где никто не обращает на него внимания. Там бедняга проводит весь год. И только на страстной неделе (*Последняя неделя перед пасхой, названная страстной в память о страданиях (страстях) и смерти Христа*) его вытаскивают из этого угла, обметают пыль,

подновляют, затем сажают за стол тайной вечери (*Тайная вечеря — трапеза в четверг страстной недели, во время которой Христос предсказал свою смерть и предательство Иуды*), сооруженный в церкви. За этим столом Иуда Искарот обязан присутствовать, если даже половина других апостолов отсутствует или их оказывается вдвое или втрое больше положенного. Случается иногда, для нужного счета (*На тайной вечере присутствовали Христос и двенадцать апостолов, его учеников*) за столом рассаживают и фигуры таких святых, которые вовсе не имели чести присутствовать на торжестве тайной вечери, к примеру, святого Антонио или святого Иеронимо (*Имеются в виду святой Антоний и святой Иероним, которых служба называет не по-латыни, а на мексиканский лад*). Надо же как-то выходить из затруднительного положения.

Для дела, которое сейчас предстояло выполнить Киприано, не было никого более подходящего, чем Иуда Искарот. На нем Киприано теперь испытывал, как лучше отчищать фигуры, как расходовать не слишком много красок. Его он мог размалевывать и лакировать в свое удовольствие, чтобы узнать, как ложатся краски и как они выглядят на старом, источенном червями дереве. Ведь если Иуду Искарота даже немножко и подпортить, это не так уж важно и вряд ли будет записано на небесах в книгу грехов. Иуду все равно опять придется запрятать в темный угол, а до страстной недели еще далеко — больше полугода. За это время на нем накопится столько свежей пыли, что совершенно невозможно будет распознать следы художественных опытов Киприано. Главное — сохранить в целостности бороду и кошель, по которым Иуду Искарота узнают и определяют, с кем имеют дело. А то иначе может случиться, и, надо сознаться, однажды так и случилось — его спутали со святым Иосифом, водрузили на алтарь, молились ему, отбивали поклоны, возжигали свечи и подносили дары.



Иуда Искарот был с благоговением и тщательностью обихожен Киприано. Кисточка нанесла там крапинку золота, тут пятнышко серебра, здесь яркий мазок пурпура, там несколько штрихов зелени и каштана. После всего этого он совершенно преобразился, стал таким величавым и прекрасным, что Киприано не мог от него оторваться. Он сокрушался и скорбел о

том, что Иуда Искарriot — всего лишь полусвятой и придется вновь задвинуть его в угол, где никто не сможет оценить искусство художника. Воистину печально, потихоньку сетовал Киприано, что Иуда Искарriot поддался соблазну и так постыдно предал Спасителя. Лучше бы он этого не делал. Тогда Киприано мог бы установить его в полном блеске на почетном месте. Но теперь уже ничего не изменишь. Все записано в Библии. Не может же Киприано взять на себя грех исказить Библию, чтобы поставить Иуду Искарriота у самого входа в церковь, рядом с чашей со святой водою, где все люди бы его лицезрели и, разумеется, восхищались талантом Киприано.

Какое-то время Киприано обдумывал, не подрезать ли бороду Иуде Искарriоту и вырвать кошель из его пальцев, затем сунуть этот кошель в руку святому Антонио или святому Иосифу, подделать кому-нибудь из них бороду и таким способом превратить в Иуду Искарriота. Вообще-то Киприано, наверно, сумел бы сотворить из Иуды Иосифа, которому отведено место у всех на виду. Но служка опасался, что все раскроется: лицо Иуды Искарriота слишком хорошо знакомо каждому, а у индейцев достаточно зоркий глаз, чтобы сразу же обнаружить подмену.

Почему Киприано вообще приходила мысль совершить подлог, легко объяснить. Как всякий подлинный художник, он знал, что во второй раз создать подобное произведение искусства ему не удастся. К тому же на Иуде Искарriоте он испробовал краски по своему усмотрению. С другими фигурами уже нельзя будет так поступать. Для одной потребуется больше каштана, для другой — больше желтизны, зелени или пурпура. Придется экономить все краски, а о золоте и серебре и говорить нечего. Тут уж не до выдумок — придется держаться привычных тонов, иначе, пожалуй, не только прихожанам — самому священнику в этих святых не разобраться. И только разрисовывая Иуду Искарriота, внешность которого никого не интересовала, Киприано мог дать полный простор своей фантазии.

В конце концов Киприано скрепя сердце все же поставил в дальний мрачный угол так дивно преображенного Иуду Искарriота. Но, даже с усердием трудясь над фигурами других святых, индеец не переставал думать о созданном им чудесном творении. Раскрашивал ли он святую Анну, или святого Пабло (*Святой Павел*), или святого Франциско, мысли его были заняты Иудой Искарriотом.

То что Киприано так прочно завяз в лапах этого предателя из предателей, когда-либо обитавших в подлунном мире было, вне всякого сомнения, проделкой сатаны, дерзнувшего воспользоваться отсутствием священника, чтобы совратить невинную и верную душу церковного служки. Ведь все, что случилось, случилось именно потому, что Киприано столь непомерно расточал на отъявленного негодяя Иуду Искарriота самые высокие свои помыслы, которые обязан был посвятить только истинным святым. Теперь злосчастный Киприано уже никак не мог выкинуть его из головы. И поэтому допустил оплошность, которая имела роковые последствия.

Наша история лишний раз свидетельствует, к сколь изощренным приемам способен прибегнуть сатана, дабы утвердить на земле свое могущество.

Наконец Киприано приступил к главной части своей работы: ему предстояло обновить и украсить пречистую деву, стоящую над алтарем. Он полагал, что нет и никогда не будет на свете деяния возвышеннее этого.

С разнообразными фигурами Христа — висящего на кресте, или несущего крест на окровавленном плече, или нисходящего в пещеру (из скомканной накрахмаленной мешковины) — он обходился так же непринужденно, как и с фигурами других святых. Между ними все-таки нет большого различия.

Но пречистая дева наисвятейшая, символ веры, она — превыше самого бога-отца.

Прежде чем коснуться пречистой девы, чтобы снять ее с алтаря, Киприано стал на колени и раз пятьдесят прочел «Ave» (*Сокращенное название молитвы «Ave, Maria» («Радуйся, Мария»)*), долго осенял себя крестом и только потом решился опустить деревянную фигуру на пол церкви. Однако не поставил богородицу прямо на каменный пол, а подстлал ей под ноги свою тильму (*Тильма — накидка*).

Он вымыл фигуру бережно и так нежно, словно она была новорожденным младенцем. Затем почистил и отполировал ее мягкой тряпкой. Совлек с нее одежды, чтобы вытряхнуть и постирать их. Собственно, под этими одеждами не было ничего похожего на обнаженное тело.

Фигура была изваяна таким образом, что как бы прикрывалась новыми одеждами, выточенными из дерева. Поэтому никто, даже самый дерзновенный, не сумел бы вызвать краску стыда на ланитах пресвятой богоматери.

На каменном полу церкви Киприано развел маленький костер. Там подогревалась вода для мытья фигур, варился и сохранялся в растопленном виде клей.

У этого костра сидел теперь на корточках Киприано и готовил себе кофе и лепешки — терять время на хождение в свою хижину ему не хотелось. Одежды богоматери он развесил в церковном саду, чтобы они быстрее просохли.

Выпив кофе, он вышел в сад поглядеть, как солнце сушит одежды пречистой девы.

Наблюдая за работой солнца, он свернул сигарету и закурил.

Солнце не только сушило одежды пречистой девы, но и сверкало всеми красками над церковным садом. И это вновь направило мысли Киприано к его великому творению, к так великолепно удавшемуся преображению Иуды Искарота. Он начал подумывать о том, что, может статься, когда вся работа будет закончена и у него останутся краски (вполне вероятно, так как он очень бережно расходовал их), ему удастся еще больше сделать для Иуды Искарота. А вдруг его творение доставит удовольствие и радость самому сеньору священнику? А тогда можно будет выручить Иуду Искарота и предоставить ему если не почетное, то уж, во всяком случае, приличное место, где люди смогут разглядеть его. Киприано все больше склонялся к мысли, что вообще по отношению к Иуде Искароту была допущена вопиющая несправедливость — две тысячи долгих лет он вынужден расплачиваться за то, что один раз пожелал заработать тридцать сребреников. А может, они понадобились ему на что-то очень нужное, скажем, на лекарство для больного ребенка? Во всяком случае, нам ничего не известно об этом. Так чего ради считать его поступок таким уж гнусным? И вообще, с Иудой Искаротом обошлись явно несправедливо: ему навечно отказано в прощении, а вот святой Педро (*Святой Петр*), который тоже отрекся от господ, прощен вполне, вдобавок ему еще доверены ключи от райских врат.

В таких утомительных размышлениях о двойной мерке, которой меряют даже на небесах, о запутанных вопросах веры, об отношениях сеньора священника с сеньорой Элодией и сеньорой Робертой, вполне благопристойных, если не истолковывать их неосторожно, Киприано пребывал довольно долго. Делать ему было нечего — не мог же он помогать солнцу сушить одежды богоматери.

Очнулся он внезапно — наверно, от шума собачьей драки. Три собаки сцепились из-за остатков его трапезы. Служка, думая выйти в церковный сад на минутку — выкурить сигарету, — не закрыл за собой дверь, собаки и ворвались в церковь.

Едва Киприано, еще полусонный, переступил порог церкви, собаки умчались.

Несколько секунд Киприано привыкал к полумраку, а когда приблизился к фигуре богоматери, его охватил леденящий ужас. Он не мог поверить собственным глазам.

Собаки, когда грызлись между собой, столкнули фигуру богоматери в костер, и она оказалась такой же беспомощной и незащитной, как любой другой кусок дерева, брошенный в огонь.

Вряд ли собаки действовали умышленно, и не надо их ни в чем винить. Но Киприано сразу же решил, что они посланы сатаной, чтобы учинить эту пакость.

Быстрым движением, на сей раз без единого «Аве», он выхватил богоматерь из пламени «чистилища».

Богоматерь прижимала левую руку к сердцу, от которого исходили во все стороны лучи, нарисованные золотой краской. Правую руку она благословляюще простирала. Рука эта была повернута ладонью вверх, а не обращена к молящимся, как обычно изображают жест благословения.

И вот теперь правая рука богоматери совершенно обуглилась, хотя и сохраняла свою форму. Обгорела и вся правая часть статуи.

Киприано начал торопливо гасить пламя остатками кофе из своей глиняной кружки. Когда же кофе кончился, забылся настолько, что принялся плевать на тлеющее дерево. Что это кошунство, ни на одно мгновение не пришло ему в голову. Перед суровой действительностью он был и оставался язычником, несмотря на все свое христианское воспитание.

Самым настоящим язычником он показал себя и когда обдумывал, как же выпутаться из беды.

Он начисто забыл, что перед ним — изваяние богоматери, которое полагается чтить, словно бы это была сама живая богоматерь.

Прежде всего он поспешно запер двери церкви, чтобы никто не мог войти и стать свидетелем святотатства, которое там свершилось. Он знал: его оплошность не будет прощена. Если даже сослаться на то, что собаки были орудием сатаны, все равно он своей нерадивостью способствовал проискам нечистого.

Конечно, ему придется расстаться с должностью. Это бы еще можно перенести, если бы речь шла только о доходах. Их было не так уж много. Пять или десять сентаво (*Сентаво — денежная единица ($1/100$ песо)* на крестинах, двадцать пять — на богатой свадьбе, а на бедной пять, а то и вовсе два, а иногда и совсем ничего, случалось и такое. А про похороны лучше и не говорить. В деревне не было ни одного состоятельного человека. И сказать, что сеньор священник имел особо жирный приход, тоже нельзя. Содержать священника вообще было накладно для бедной общины. И индейцы наотрез отказались бы от попечения о нем, кабы им не внушалось, что когда-нибудь на небесах за все воздастся сторицею, а сейчас святой отец нужен, чтобы вымаливать дождь и солнце, благословлять приплод овец и коз. А вот при серьезных болезнях ждать от него помощи не стоило. Так считали все. Тут уж лучше обращаться к своим лекарям и лекаркам.

Стало быть, не о доходах печалился Киприано. Несравненно больше его удручало, что он может лишиться привилегированного положения в общине. Не быть уж Киприано самым приближенным к сеньору священнику человеком, не держать перед ним молитвенник, не надевать и не снимать с него облачение, не прислуживать у алтаря, не подавать полотенце и миску для омовения рук, не зажигать свечей, а в отсутствие священника не распевать «Ave» и псалмов. Никому уже не понадобятся советы Киприано, и в день своих именин не получит он больше курочек и петушков, не будет и тех маленьких знаков внимания, которыми он пользуется круглый год: здесь поднесут стаканчик теквилы, там угостят тыквой, сваренной на диком меду... Жизнь вообще утратит всякий смысл.

За тридцать лет он сроднился с церковью и своей должностью. Никто из прихожан не мог бы себе представить церковь без него. Молодое поколение было рождено и воспитано в убеждении, что его персона незаменима...

Ну, а если он усердно помолится, может, все-таки свершится великое чудо — у богоматери опять вырастет рука? Нет, так далеко вера Киприано не заходила. Он был слишком индейцем. Он знал: никогда не вырасти мертвому дереву, сколько об этом ни возноси молитв.

Так он пришел наконец к той единственной мысли, к какой и должен был прийти в столь отчаянном положении. Он решил просто отпилить обугленную руку богоматери, выточить из дерева новую и приклеить ее взамен отпиленной. Потом надо все густо закрасить, и, когда пречистая будет вновь вознесена над алтарем, никто не заметит подделки.

С этой рукой придется провозиться, наверное, целый день. Богоматерь обязательно должна стоять на своем обычном месте, иначе прихожане, явившись в церковь молиться, сразу же обнаружат ее отсутствие. Да и какая польза от молитвы, если у алтаря нет богоматери... Индейцы должны видеть воплощение того, чему поклоняются, иначе они не могут сосредоточиться на молитве и вместо этого станут думать о своем маисе, о козах и овцах. А это способствует язычеству.

Итак, Киприано вновь облачил богоматерь в ее одеяние. Покончив с этим, он установил фигуру на прежнем месте над алтарем и расставил свечи так, что разглядеть в сумраке церкви обугленную руку стало невозможно, разве если подойти к алтарю совсем близко. Кроме того, он искусно задрапировал руку темно-синей тканью.

Новая рука будет прилажена еще до возвращения священника. Каяться перед ним в своей преступной небрежности Киприано не собирался, хоть и прекрасно сознавал, что впадает в грех. Ну, он просто-напросто забудет все это дело, а в том, чего не помнишь, и сознаваться ведь ни к чему. Ныне и присно и во веки веков. Если бы каждый индеец сознавался во всем содеянном, вряд ли даже самый снисходительный служитель божий рискнул даровать ему отпущение грехов. Сам господь бог призадумался бы, следует ли такому нечестивцу отпустить

прегрешения, но он, милосердный, наверно, пришел бы к мысли, мол, тут уж ничего не изменишь и лучше оставить индейцев такими, как есть, довольствуясь тем, что можно от них получить.

Богоматерь была установлена на своем возвышении. Между тем наступил вечер. Киприано отворил церковь. Явилось несколько женщин, чтобы усладить себя молитвой.

В положенный час Киприано запер церковь, твердо уверенный, что за ночь там ничего особенного произойти не может, и отправился в свою хижину.

Он отыскал подходящий кусок дерева и при тусклом свете жестяной лампочки принялся мастерить из него руку.

Окончательно отделать ее он собирался утром, когда совсем рассветет. Он был убежден, что справится с работой к завтрашнему дню. Во время ранней службы пусть фигура пречистой девы побудет на обычном месте, а к вечеру он уже наверняка все закончит — подклеит, закрасит. Работа подвигалась куда быстрее, чем он предполагал в смятении первых минут.

Киприано работал и работал. Текли ночные часы. И вдруг поднялась неистовая гроза. Гром гремел со всех сторон, словно небеса хотели обрушиться на землю. Молнии носились по небосводу и разрывали черную ночь на косматые лоскуты. Человек более религиозный, чем Киприано, немедленно связал бы грозу с осквернением богоматери. Священник тоже обязательно бы изрек: «Ну вот, теперь видишь, Киприано, что ты натворил. Гнев господен над тобою. Покайся и пади ниц перед алтарем всевышнего!»

Киприано, конечно же, был религиозен. Но не настолько, чтобы думать, будто эту грозу он навлек своей оплошностью. Он слишком был близок к природе и не мог проникнуться столь ребяческой верой. Ведь еще накануне он заметил далеко на горизонте тяжелые грозовые тучи и даже перекинулся об этом словечком с Матео и Панфило, когда они минуту-другую болтали в церковном саду: «Будьте начеку, ребята, сегодня ночью разразится такая гроза, какой у нас давно не бывало. Хоть бы не было пожара».

А разговаривали они за несколько часов до того, как рука богоматери обгорела в костре.

Разумеется, священник — Киприано достаточно давно у него служил и изучил его — сказал бы: «Богоматерь все заранее знала, поэтому она заблаговременно подготовила грозу!»

На это Киприано ответил бы, как отвечал всегда: «Да, сеньор священник, это так, это правда». Потому что с сеньором священником не следует спорить, это безбожно. Все, что сеньор священник говорит, — правда. Но в душе Киприано сказал бы, — а что говорят в душе, сеньор священник ведь не слышит, — да, в душе он сказал бы: «Ладно, если богоматерь все заранее знала, а она знала, потому что сеньор священник так говорит, значит, она также знала и то, что какие-то паршивые деревенские псы спихнут ее в огонь. Но не подстроила же она все нарочно, чтобы навлечь на меня такую беду. Выходит, ни на кого нельзя надеяться? Поди тут разберись! Нет, уж лучше не думать обо всем этом».

Киприано свернул сигарету и закурил. Он не собирался молиться, чтобы гроза прошла, не причинив никому вреда. По опыту ему было известно, что это не слишком помогает и гораздо вернее просто дожидаться, пока гроза отбушует и пройдет сама собою. У него на памяти один случай. Жену Панчо Лацкано Лючину убило молнией, когда она перебирала четки. Стало быть, лучше покуривать сигарету и, стоя в открытой двери хижины, любоваться великолепием грозы.

И когда Киприано всматривался в небо, где начинало проясняться и уже поблескивали звезды, над ним грянул мощный раскат грома. Индеец пошатнулся, ему пришлось изо всех сил уцепиться за дверной косяк, чтобы не упасть. Одновременно промелькнул ослепительный зигзаг молнии, пронзивший, как он ясно увидел, церковную крышу. Он услышал отчетливый треск черепицы и ждал, что в следующее мгновение церковь вспыхнет ярким пламенем.

Но ничего не произошло. Церковь стояла, как и прежде, зарытая в темноту ночи. Стих гром. Угасли молнии. Начался сильный дождь. Через полчаса дождь ослабел, гроза миновала, и только где-то далеко в ночном небе полыхали зарницы.

Киприано все еще стоял у своей двери. Подошло несколько мужчин. Они сказали:

— Ты видел, Киприано, молния ударила прямо в церковь. Возьми ключи и открой церковные двери. Взглянем, не горит ли что-нибудь внутри. Пока еще можно потушить.

Когда Киприано и его спутники подошли к церкви, там было уже много народу, и люди все подходили и подходили — мужчины, женщины, дети. Они явились с горящими пихтовыми

щепками, с закопченными фонарями. Все видели, как молния ударила в церковь, все хотели узнать, не натворила ли она беды.

Киприано отомкнул церковь, и мужчины принялись шарить повсюду, не затаилась ли где-нибудь искра. Но не нашли ничего. Молния, видимо, была холодной.

До полуночи толпились люди у церкви. И прежде чем Киприано запер церковные двери, мужчины еще раз тщательно обыскали каждый уголок, опасаясь, не тлеет ли все же где-нибудь искра. Наконец они убедились, что никакой опасности нет. И все разошлись по домам хоть немного вздремнуть. Утром Киприано в положенный час отворил двери церкви. Мальчишки зазвонили к заутрене. Киприано зажег свечи. Явились ранние богомольцы. Почти все — женщины и с ними несколько ребятишек.

Две женщины придвинулись вплотную к алтарю — вознести особую молитву богоматери.

Киприано стоял у двери, наполняя чашу со святой водой.

Вдруг женщины у алтаря пронзительно вскрикнули и принялись исступленно креститься.

Киприано обернулся, и безумный ужас охватил его. Он тоже перекрестился и быстро-быстро пробормотал несколько раз «Ave, Maria». Он понял — все открылось. Как только вернется священник, его ждет самая постыдная отставка.

Шум у алтаря усиливался. Туда сбегались все женщины, находившиеся в церкви. Они тоже падали на колени и начинали креститься.

Церковь не очень велика. И потому Киприано, даже стоя у двери, мог бы легко понять, о чем так возбужденно толкуют перед алтарем. На это совсем не надо было тратить усилий, так как женщины чуть ли не кричали. Но ему не хотелось прислушиваться, он понимал, что узнает только о своем позоре. И все же улавливал отрывочные слова, не вникая в их смысл:

«О богоматерь!.. Пречистая!.. Пресвятая дева!.. Чудо!.. Чудо свершилось!.. Великое чудо!.. Чудо из чудес!..»

Женщины повернулись к Киприано, застывшему у чаши со святой водой. Он все меньше понимал, что ему следует делать. Лучше всего, наверно, пойти домой, лечь на свою циновку и прикинуться смертельно больным.

Но женщины не дали ему времени принять какое-нибудь решение. Они окружили его и потащили к алтарю.

Все стало безразлично Киприано.

Женщины хватали его за руки и кричали наперебой:

— Ты что, ничего не видишь, Киприано? Не понимаешь, что ли, какое великое чудо тут свершилось? Прошлой ночью молния ударила прямо в церковь. Видишь там, наверху, пробитую черепицу?

Киприано глядел наверх и кивал и кивал.

— Чудо! Великое чудо нам даровано по милости божьей. Молния поймана рукой пресвятой девы!.. Пречистая пожертвовала своей рукой, чтобы защитить священное тело Христово в дароносице (*Дароносица — переносной сосуд для причащения*) и спасти церковь от огня! Чудо! Великое чудо!

Не прошло и трех дней, как церковь начали осаждать тысячи людей — индейцев, метисов, белых.

Киприано теперь уже не мог ничего изменить. Он решил, что такова, наверно, воля господня, которая вершит земные судьбы.

Деревенская церковь превратилась в богатый приход. Процветает она и доньше.

По-человечески совершенно понятно, что Киприано никогда ни о чем не проговорился. Мог ли он, бедный индеец, не умеющий ни читать, ни писать, бросить в лицо епископам и другим церковным сановникам, съезжавшимся отовсюду служить мессы и конфирмации (*Конфирмация — религиозный обряд, связанный с совершеннолетием*), что, мол, случайно произошло маленькое недоразумение? Да епископы бы его высмеяли и во всеуслышание объявили, что он выжил из ума.

Как истый индеец, он предпочитал помалкивать, когда нет особой необходимости говорить и невыгодно запутывать дело, которое высокородным церковным служителям, в тысячу раз более умным, чем он, угодно принимать за деяния господни. Ему ли идти наперекор власти имущим? Житейская мудрость подсказывала, что лучше оставить все без изменений, пока это

не сулит никому неприятностей, и уверять, что он лично терпит ущерб из-за своей скрытности, тоже не стоит. Потому что церковному служке в богатом приходе живется привольней, чем в нищенской деревенской общине. Киприано уже не было нужды рубить деревья и выжигать уголь. И, значит, не приходилось браниться со скупщиками угля, которые только и норовят, что обвесить да обсчитать. Тяжкая работа в тропическую жару — такое великое наслаждение и завидный жребий индейцев, что, по справедливости, Киприано следовало бы зачислить в святые за много лет до того, как он начал испытывать сострадание к Иуде Искароту.

Вот и вся история о чуде пресвятой девы. Она от начала до конца правдива, как бы верующие ни настаивали, что не все чудеса творятся таким же или сходным способом. Ведь и с мусульманами бесполезно спорить о пророческом даре Магомета.

РОЖДЕНИЕ БОЖЕСТВА



У многих древних народов, и не обязательно у варварских, есть боги, сотворенные по образу человеческого. Богам приданы все добродетели и пороки людей. Иудейство и христианство, наоборот, объявляют человека созданным по образу и подобию божьему. Цель здесь очевидна: доказать, что человек как существо божественное или богоподобное имеет право владычествовать над всем и всеми. И тем утверждается превосходство этих религий над язычеством.

Итак, все боги, языческие, иудейские и христианские,— творения людей. Но только в немногих, довольно редких случаях рождение или приход в мир божества откровенно связывается с реальным и несложным житейским фактом. Обычно те, кто извлекают из религии выгоду, окутывают подобный простой факт мистической таинственностью: звезда ведет царей из дальних стран к месту, где должен родиться бог, а когда он появляется на свет, разверзается небо и трубачи совместно с хорошо спететированным оперным хором дают бесплатный концерт для пастухов... *(По преданию, когда родился Христос, в небе зажглась звезда и небесный хор приветствовал его)*

Во многих христианских странах, особенно в Соединенных Штатах Северной Америки *(Так назывались Соединенные Штаты Америки до середины 30-х годов нашего века)*, всякий, кто пытается вскрыть истинную историю возникновения иудейской или христианской религии, обвиняется в кошунстве. И, наоборот, не считается кошунством исследование происхождения так называемых языческих богов и публикация этих исследований. Изучение языческих религий не запрещается, а часто даже весьма щедро субсидируется. На их примере легче выяснить суть вопроса.

Рассказывая здесь историю рождения одного индейского божества, я вполне убежден: нет и никогда не было на земле религии, в которой рождение божества или богов и тем самым все происхождение вероучения по существу не сводилось бы к простому и естественному житейскому факту.

...Эрнан Кортес *(Эрнан Кортес — предводитель испанских конкистадоров, завоевавших Мексику в 1519-1521 годах)* захватил Мексику, а потом предпринял экспедицию в Гондурас. Этот поход был затеян в поисках водного пути из Атлантического океана в Тихий. Ведь в те давние времена полагали, что Североамериканский и Южноамериканский континенты — всего лишь два обширных острова, между которыми распростерт огромный рукав моря.

Кортес прибыл к озеру Петен, очень большому озеру в нынешней Гватемале. Там он встретил индейцев, оказавших испанцам трогательно радушный прием.

После длительного марша по непроходимым дебрям, через горы, реки, болота армия Кортеса была совершенно измотана. Она тащилась вперед только потому, что не могла бы вновь одолеть препятствия, оставшиеся позади. Не встретить Кортес гостеприимных индейцев, сделавших все, чтобы поставить на ноги его изнуренных голодом солдат, они неминуемо погибли бы в джунглях.

Эта малоуспешная экспедиция относится к числу самых катастрофических неудач испанских завоевателей в Америке.

Индейцы обильно снарядили пришельцев для дальнего похода, сделали для них все, что истинно гостеприимные люди могут сделать для тех, кто нуждается в помощи.

Чтобы еще более угодить испанцам и исполнить все желания гостей, индейцы с легким сердцем согласились креститься и принять христианскую веру. Точно на великий праздник, шли они отовсюду и были поголовно окрещены в течение двух дней. В своей безмерной доброте и миролюбии они не мешали белым уничтожать старых богов, разрушить древний храм, а когда заметили, сколько удовольствия доставляет гостям это яростное разрушение, весело присоединились к испанцам. Происходящее казалось им чем-то вроде занятого представления.

Индейцы этого края в своей скромной жизни довольствовались дарами большого озера и окрестных лесов. У них не было ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней. Они не имели ни малейшего понятия о серебряных рудниках или золотых приисках. Поэтому Кортес не проявил к ним сугубого интереса. Он считал время, проведенное у озера Петен, в сущности, потерянным и торопил священников, сопровождавших его армию, поскорее покончить с обращением язычников в христианство. Видимо, ему не хотелось задерживаться там, где нечем было особенно поживиться.

Но Кортес все-таки пожелал отметить достославный праздник всеобщего крещения с должной помпой и одновременно создать у индейцев впечатление мощи белых. И он приказал в день праздника дать несколько пушечных залпов, а кавалеристам проделать военные упражнения.

Для индейцев, никогда не видевших ничего подобного, это было, естественно, грандиозным событием. Грохот и огонь пушек, состязания всадников и религиозный ритуал ошеломили новообращенных. Индейцы могли воочию убедиться, какие чудеса способны творить белые люди. Выходит, бог белых людей куда сильнее старых индейских богов, потому, значит, ему и удалось победить этих богов.

Однако самое глубокое впечатление на индейцев произвели не гремящие, извергающие пламя пушки, а всадники. На Американском континенте лошадей тогда не было, и индейцы их никогда не видели. Наивные дети природы, они поначалу воспринимали испанца на лошади как некое единое существо, самое невероятное из всех чудовищ на земле. Чудовище это имело четыре ноги и могло бежать быстрее самого быстрого бегуна. Оно обладало двумя головами: человеческой и вдобавок еще одной — странной, удлиненной, с огромными круглыми глазами. У него было острое жало — копье и короткий нож — меч, которым оно умело стремительно наносить удары во все стороны.

Кортес выжал из индейцев все, что было возможно, оставив им единственную плату за радушную помощь — предписания, как очищаться от грехов, о существовании которых они до сих пор даже и не подозревали.

В день отъезда Кортес все же решил облагодетельствовать индейцев каким-нибудь подношением, чтобы они не считали белых такими уж скрягами. Он преподнес туземцам в знак доброй дружбы хромононогого коня. В предстоящем походе этот конь стал бы только обузой для его армии.

Индейцы приняли подарок с волнением и радостью людей, никогда не ожидавших столь царственной награды.

Потом Кортес и его армия исчезли столь же загадочно, как и появились. Только хромоногий конь, которым индейцы теперь владели, свидетельствовал, что все недавно виденное и пережитое ими было не сном, а явью.

Итак, Кортес оставил коня в подарок своим радушным хозяевам. Изумительная щедрость! Но, увы, он не сказал им, чем надо кормить этого коня, как ухаживать за ним. Между тем тысячи и тысячи индейцев из окрестных селений явились посмотреть на диковинное животное. Близость его к таинственным белым людям, которым подвластны громы и молнии, внушала индейцам глубокое благоговение. Они возложили перед ним жертвенные дары — букеты и гирлянды прекраснейших цветов.

Однако божественное животное только гордо обнюхало жертвенные дары и тут же презрительно отвернулось.



Невинные дети солнечной страны были очень огорчены. Они молились и пели, танцевали и устраивали праздничные шествия, чтобы снискать расположение божественного животного.

Наконец один старый лекарь изрек:

— Разве вы не видите, божественное животное ранено в ногу. Надо его как следует полечить.

Индейцы складывали перед конем груды жареных диких индюков — жареные индюки считаются у индейцев лучшим питанием для больных. Индюки подавались на красиво отшлифованных медных пластинах, с цветами, фруктами и изысканными приправами, но конь только тряс гривой и нетерпеливо перебирал ногами.

А ведь бедняга имел редкую возможность вести счастливейшую жизнь, когда-либо выпадавшую на долю коня. Всего только несколько сотен шагов отделяло его от превосходных пастбищ, поросших сочной, вечнозеленой травой. Всюду рос великолепный маис. И, несмотря на все это, ни в чем не повинное животное обречено было на мучительный голод. Однажды конь свалился и больше не встал.

В ужасе и суеверном трепете стояли индейцы у бездыханного тела божественного животного. Они страшились его мести за то, что так неумело с ним обошлись и довели до гибели. Искуснейший каменотес изваял статую коня, и ее торжественно водрузили в главном храме.

Девяносто три года спустя, в 1618 году, у озера Петен появились два францисканских монаха — обратить язычников в христианство. Со времен Кортеса ни один белый не посещал этого заброшенного угла Мексики.

Монахи вступили в храм и несказанно поразились, когда вдруг увидели там гигантскую каменную скульптуру коня. Ведь, по их мнению, в той части света лошади совершенно не были известны.

Не веря себе, монахи смотрели, как индейцы поклоняются этой каменной скульптуре, словно верховному идолу. А обнаружив позади каменного коня массивный крест, они были совсем сбиты с толку. Выяснилось, что этот каменный конь — олицетворение всемогущего божества грома и молнии.

Рассказ монахов, понятно, вызвал сильнейшее возбуждение среди людей, занимавшихся изучением страны и историей ее народа. Разгорались самые ожесточенные споры, строились всевозможные догадки о том, как случилось, что в этой отдаленной части континента индейцы умудрились обожествить коня в сочетании с крестом. Всевозможные догадки и предположения, пожалуй, привели бы исследователей индейской истории к самым немыслимым выводам, если

бы в одном из посланий Кортеса императору Карлу V не нашлось сведений, исчерпывающе объяснявших суть дела.

СООБЩНИКИ



Виценте Плиего не мог больше оставаться в Халиско, где ему несколько раз приходилось иметь дело с полицией: туда был назначен новый начальник полиции, который принялся быстро и основательно расправляться с мелкими мошенниками. С крупными это оказалось не так-то просто: некоторые из них доводились ему родней, а многие другие были депутатами, имевшими достаточно влияния для отстранения его от должности. С этими важными особами Виценте, конечно, не мог равняться и потому однажды незаметно собрался и направил стопы в Мехико, где его никто не знал.

Виценте Плиего метис. Его постоянная профессия — жульничество. Ничем иным он никогда не занимался и надеялся всю жизнь обходиться этой профессией.

В Мехико Виценте некоторое время удачно промышлял карманными кражами. Ревностный католик, он свои самые удачные махинации проделывал в церкви. Благоговейно опустившись на колени рядом с коленопреклоненными, пылко молящимися женщинами и многократно осеняя себя крестом, он очищал их сумочки. У мужчин он вытаскивал из брючных карманов кошельки и воровал часы. Грабить кружку для пожертвований Виценте считал постыдным, недостойным католика, потому что ее с успехом грабили другие, более искусные, и ему грозил бы удар кинжала, посмей он впутаться в это дело, которое они считали своей привилегией.

Виценте познакомился с одной девушкой, и для нее ему понадобилось много денег: она требовала элегантные платья, золотые серьги, браслеты и все прочее, чем так увлекаются девушки.

Приятель Виценте служил шофером в очень состоятельной семье, проживавшей на фешенебельном Авенида ла Кондеса. У этой семьи Виценте и решил позаимствовать нужную ему сумму. Он навестил шофера, своего приятеля, и заодно с разумной предусмотрительностью обозрел дом, желая изучить поле деятельности.

В Мехико везде есть церкви, где имеются определенные святые, которых мошенники, взломщики, грабители и бандиты считают своими покровителями. Святые не отказывают своим подопечным в защите, если, разумеется, их достаточно убедительно просят: возжигают перед ними свечи и слагают к их ногам жертвенные дары, лучше всего — в звонкой монете.

Кроме того, эти святые ожидают, что их слава будет возвещена всему свету. Однако не облеченный духовным саном простой смертный не имеет права публично, а тем более в церкви возносить хвалу святым. Поэтому скромный верующий вынужден писать письмо, в письме выразить свою признательность, упомянув, какого рода была оказанная ему помощь, и затем это письмо открыто, на глазах у всех прочих молящихся, приколоть своему святому булавкой к рясе или бархатной мантии.

Поблизости от рынка Мерсед отыскал Виценте гадалку, которой заплатил пятьдесят сентаво, чтобы узнать у нее, какой именно святой может лучше всего оказать ему покровительство в одном важном деле. Гадалка мигом раскусила своего клиента — иначе какая же она была бы гадалка — и назвала ему и церковь и имя святого, особенно подходящего для его особого дела, объяснила, в какой нише обретается этот святой, как он выглядит и сколько ожидает за содействие.

Церковь оказалась по соседству, в том районе Мехико, который во всем мире известен как район бандитов, убийц и грабителей. Подобные же районы отчаянных головорезов существуют и в Нью-Йорке, и в Чикаго, и в Сан-Франциско, и в Лондоне, и в Париже. Иностранцев и туристов, прибывающих в Мехико, всегда настоятельно просят не посещать этого района ни

днем, ни ночью, так как там нельзя поручиться ни за их деньги, ни за их одежду, вплоть до рубашки, да и за жизнь тоже.

Жители этого района носят в кармане четки, а на шее — освященную церковнослужителем ладанку. И каждый день, без единого исключения, они заходят хоть один раз на десять минут в какую-нибудь из бесчисленных церквей, чтобы окропить себя святой водой, преклонить колена перед богородицей и перекреститься положенное число раз.

Виценте без промедления собрался в церковь, чтобы заручиться дружбой только что рекомендованного покровителя. Видимо, он нашел святого вполне доброжелательным и склонным не отказывать ему в небесном заступничестве. Он опустился на колени, благоговейно прошептал все молитвы, причитающиеся этому святому по молитвеннику, и объяснил, какие имеет намерения и в какой форме ожидает содействия. «Если все сойдет благополучно, если получится удачно и я не влипну, клянусь пожертвовать тебе двадцать свечей и двадцать пять процентов с выручки!» — дал Виценте обет святому. Затем опять пробормотал несколько молитв, поставил на алтарь четыре свечи, перекрестился и вышел, убежденный, что теперь задуманное ограбление вполне удастся, даже если у дома будут дежурить полицейские.

Два дня спустя Виценте получил от своего приятеля, шофера, весточку: нынче его господа уедут и прибудут домой только завтра, не раньше, чем в два часа, а домашние слуги отпущены в кино и до полуночи не вернутся.

Виценте устроил все сам, без чьей-либо помощи.

Наутро он оказался владельцем примерно двух тысяч четырехсот песо, двух пар часов, нескольких колец, золотого портсигара и еще кое-каких мелочей, которые обычно перепадает при подобных визитах.

Все прошло хорошо. Какой-то полицейский видел, как он выходил, но ничего не сказал и, уж во всяком случае, ничего не заподозрил. И потому, что все закончилось так благополучно, спокойно и без всякой револьверной пальбы, Виценте вспомнил обет, данный им святому. Он пошел к евангелисту (*Речь идет о статуе евангелиста, возле которой располагались переписчики*) в колоннаде площади Санто Доминго и заказал отпечатать на пишущей машинке благодарственное письмо святому, причем настоял, чтобы важнейшие строки этого письма были выделены красным шрифтом. За это переписчик набавил еще одно песо сверх положенного.

Но Виценте не сумел сразу же пойти к святому — у него было назначено свидание с девушкой, и свидание это все затягивалось и затягивалось, пока наконец идти в этот день в церковь было уже поздно.

Зато своему приятелю шоферу он в тот же вечер вручил условленное вознаграждение.

Когда, уже на другой день после полудня, Виценте опять вспомнил о своем обете, то обнаружил, что свидание с девушкой и связанные с этим покупки обошлись очень дорого и он ни в коем случае не сможет выплатить святому двадцать пять процентов чистой прибыли — около шестисот песо, которые следовало опустить в кружку для пожертвований. У него, правда, оставалось еще семьсот песо, но если бы он шестисот из них отдал святому, ни на какие свидания с девушкой уже нельзя было бы рассчитывать. И он пришел к убеждению, что святому, преисполненному великого милосердия и великого сочувствия к слабостям человеческим, вполне хватит двухсот, а то и вовсе ста пятидесяти песо.

Итак, Виценте явился на следующее утро в церковь, стал на колени, свершил молитву, приколот к мантии святого свое красивое благодарственное письмо, отпечатанное красными и синими буквами, а потом принялся опускать в щель кружки для пожертвований монету за монетой серебряные песо. Все это продолжалось довольно долго.

На коленях перед святым стоял не один Виценте. Потому что не один ведь в Мексике мошенник. Да и так называемые честные люди тоже имеют собственных святых, каждый в соответствии со своими потребностями. Правда, эти люди не всегда в состоянии разобраться, не относится ли дело, по поводу которого они призывают к своему святому, к компетенции другого святого — того самого, к которому прибегнул Виценте.

Итак, Виценте был не единственным молящимся и мало интересовался тем, кто еще стоит на коленях перед нишей его святого. Среди прочих был там и какой-то мужчина, видимо принадлежавший к тому же сословию, что и Виценте.

Этот мужчина встал и бегло оглядел письма, приколотые к мантии святого. Он, кажется, знал их все наперечет, так как сразу же определил, что появилось новое письмо, и заметил, кто его приколот. И еще заметил, как Виценте отправил одно песо за другим в кружку для пожертвований. Потом снова опустился на колени и продолжал молиться с прежним пылом, непрерывно осеняя себя крестом.

Тем временем Виценте уже покончил свои расчеты со святым. Он удержал из вознаграждения еще двадцать песо — напоследок ему вдруг показалось глупым впихивать и впихивать в кружку красивые монеты.

Он снова преклонил колени, чтобы вознести прощальную молитву. И прошептал ее весьма поспешно, так как именно в эту минуту вспомнил, что у него назначено свидание с девушкой.

Человек, принадлежащий к тому же сословию, что и Виценте, и столь же страстно изливавший душу перед святым, все еще стоял на коленях. Но теперь и он кончил молиться. Еще несколько раз перекрестился, встал и вышел из церкви.

На улице он жестом подозвал какого-то парня, околавивавшегося там без всякого дела. Парень покурил сигару и таскал за собою трость, с которой, похоже, не знал, как обращаться, потому что перекидывал ее из одной руки в другую, подбрасывал в воздух, держал то как винтовку, то как веник, царапал ею по камню, чесал за ухом и делал все прочие штуки, какие проделывают с тростью люди, с детства не обученные, что трость имеет одно-единственное назначение: ее следует где-нибудь оставить и быстро удрать, чтобы никому не удалось ее вернуть.

Вот таким, значит, был тот парень на улице. У него имелась трость. И он покурил сигару. Люди такого сорта на всем свете совершенно одинаковы. Их узнаешь за двести шагов, узнаешь легче, чем полицейских в форме. Тех подчас и не разберешь, то ли это ряженые с какого-то маскарада, то ли новый карательный отряд, направляемый в Верхнее Конго.

Но — и в этом вся суть — мужчина, который, видимо, принадлежал к тому же сословию, что и Виценте, и так же благоговейно крестился, преклоняя колени перед святым, умел читать благодарственные письма куда лучше, чем самый ловкий мошенник сумел бы их когда-нибудь написать, помогай ему самый ученый евангелист. Мошенник вынужден хоть кратко, но изложить смысл дела и таинственно намекнуть, чем обязан святому, потому что иначе святой ничего не уразумеет, перепутает письма, денежные суммы, имена и, по чистейшему недоразумению, станет покровительствовать совсем не тому, кто платит больше и пишет самые красивые благодарственные письма, а тому, кто скупится на деньги и на свечи.

Полицейские молятся святым не менее усердно, чем мошенники. И когда в полицию сообщается, что позавчера ночью в доме была совершена кража со взломом и вор не пойман, кто-нибудь из полицейских отправляется в штатской одежде на Воладор, воровской рынок, где торгуют краденными вещами. Другой полицейский идет в определенную церковь, где знает всех святых.

Если вор не попался, он придет поблагодарить своего святого — не сегодня, так завтра или послезавтра, но придет обязательно, ибо он хороший католик, верящий в покровительство святого и очень ему признательный.

Шофер был арестован еще вчера, потому что полиция хоть, возможно, и очень глупа, но все же не настолько, чтобы не догадаться через несколько часов, что кто-то, кто служит в доме, сообщил кому-то, кто не служит в доме, что дом остается без присмотра, и рассказал, где хранятся наличные деньги хозяев.

А тут набожный Виценте в благодарственном письме печатает красным шрифтом доверчиво, словно сообщнику: «...И я лобзаю тебя, мой святой, в сердце твое из признательности, что ты послал мне на моей стезе такого хорошего друга, как мой друг ш...р Панчо Л., и я молю тебя из глубины души его также охранять и осенять своею благодатью, и я восхваляю...»

Даже если бы полиция не проявляла совсем никакого интереса к тому, будут пойманы воры или нет, потому что деньги в любом случае пропали, все-таки, если у нее имеется хоть искра профессиональной гордости, она не может позволить прилепить у себя прямо под носом такое письмо. А потом отпустить шофера и заявить: «Мы сожалеем, с арестом была допущена грубая ошибка».



Полицейские и судьи не совершают ошибок. Если кто-то казнен, а позже выясняется, что он казнен безвинно, то это его собственная вина: зачем он стал так близко, что пришлось счесть его виновным. От места, где происходит преступление, надо своевременно удаляться, тогда и не будешь никогда без вины виноват.

Все эти поразительные исследования, соображения и глубокие мысли из области судопроизводства были совершенно неизвестны ни Виценте, ни его верному другу шоферу Панчо. Оба они и в следующий раз проделают все точно так же — опять напишут письмо святому, опять падут перед ним на колени...

Очень скоро им стало ясно, почему отвернулся от них святой.

Виценте и шофер встретились в тюрьме. Ни один из них не предал другого. Они сдружились еще больше прежнего.

— Не понимаю, — сказал шофер, — с чего бы это твой святой вдруг кинул тебя на произвол судьбы?

— А мне понятно, — ответил Виценте удрученно. — Вышел-то ведь я из этого дома — лучше не надо. Но после, вот проклятье, сотворил величайшую глупость. Я обещал святому отвалить двадцать пять процентов, а знаешь, Панчо, сколько я приволок ему? Всего сотню, и из них двадцать еще зажил, и двадцати свечей я ему тоже не поставил.

— Ну, ясно, — изрек шофер, — теперь меня не удивляет, почему мы тут сидим. Получи он все сполна, никогда бы тебя не выдал. Соображать надо! Даже я не стерпел бы такого надувательства, так чего же ты хочешь от своего святого? Видал я дурней, но такого, как ты, мне давным-давно не приходилось встречать.

СТРАНСТВИЕ СВЯТОГО АНТОНИО



Рудокоп Сильвестре, индеец, так преуспел в жизни, что сумел обзавестись карманными часами. Часы были из никеля и стоили восемь песо пятьдесят сентаво. Это оказалась славная, дельная вещь, потому что она показывала все двадцать четыре часа суток.

В Мексике, где на железной дороге, на почте, в суде, в театре и в прочих общественных местах время ценится дорого, очень удобно, очень важно иметь карманные часы — ведь на них цифры обозначают любое время дня и ночи.

Сильвестре, разумеется, очень гордился своими часами. И так как в его рабочей колонне, да и во всех соседних колоннах тоже, он был единственным владельцем часов, у него осведомлялись о времени не только товарищи, но иногда и сам начальник, а при случае и люди из ближайших колонн. Это сделало его важной персоной. И потому, что часы так прославили его, он относился к ним с величайшим почтением. Он брал их с собою даже в забой и при этом всегда завертывал в бумагу, чтобы они не пострадали от рудничной пыли.

Однажды Сильвестре обнаружил, что часы исчезли. Может быть, они потерялись в забое, может быть, при спуске в рудник. Украсть часы, по его мнению, не могли. Вор все равно не сумел бы их ни носить, ни продать: Сильвестре, когда покупал часы в соседнем городке, по совету часовщика велел четко выгравировать на них свои инициалы. За это пришлось доплатить еще одно песо. Но часовщик (по профессии кузнец, как и большинство часовщиков в Мексике) так настоятельно рекомендовал гравировку, так убедительно доказывал необходимость ее для сохранности часов, что индеец понял: без гравировки часы в первый же день будут украдены из его кармана.

В церкви Сильвестре попросил освятить часы, что тоже даром не делается, и сверх того самолично побрызгал их святой водою. Но хоть в результате таких предохранительных мер покупка и обошлась почти вдвое дороже, этого оказалось все же недостаточно, чтобы Сильвестре мог до конца своих дней благополучно владеть часами. То ли он упустил что-нибудь при освящении, то ли сунул их мимо кармана, то ли они сами выскользнули оттуда, как бы там ни было — часы исчезли.

Он перерыл кучи руды в своем забое, но часы так и не нашлись, пропали, словно их никогда и не было.

Ничего другого, значит, Сильвестре не осталось, как дожидаться воскресенья, чтобы исправить дело с помощью церкви и ее святых. Хороший католик, он умел, подобно многим индейцам, достаточно правильно креститься и знал наперечет всех святых, к которым надлежало прибегать в затруднительных случаях. При розыске утерянных вещей, именно утерянных, а не украденных, лучше всего было обращаться к святому Антонио. Ему всегда известно, где именно находится пропавшая вещь.

В воскресенье Сильвестре отправился в город, отыскал в церкви деревянную фигуру святого Антонио, зажег перед ним свечу и, многократно перекрестившись, обратился с просьбой — найти часы. По личному разорительному опыту он знал: в церкви ничто не делается бесплатно, и поэтому обещал святому Антонио три свечи по пять сентаво и маленькую серебряную руку (*Подношение святому в благодарность за его покровительство могло быть в виде особых символических предметов из дорогих материалов*), если тот разыщет часы самое позднее к следующему воскресенью, когда Сильвестре опять придет в церковь посмотреть, чего за это время сумел добиться для него святой.

В течение недели часы не нашлись. Явившись в следующее воскресенье в церковь, Сильвестре тоже их не обнаружил, хоть и весьма внимательно все оглядел. Не лежали они у ног святого Антонио, не прятались в складках его коричневой монашеской рясы, не скрывались где-нибудь под одеянием, которое Сильвестре почтительнейше приподнял. Нигде не было часов, и индеец понял: зря он потратился на свечку, зря молился и крестился...

И все-таки он опять пошел покупать свечку. Далеко ходить не пришлось — свечами, образками, крестиками промышляли тут же, на прилавках под сводами церкви. Шумно, будто на ярмарке, торговались, пререкались, божились, менялись. А у алтаря, безучастно к суете купли-продажи, служили мессу...

Не Сильвестре изобрел такой стиль христианской религии, и, следовательно, не он был виноват во всем этом. Но он верил, что обретает нерушимое право получить от святого Антонио свои часы, если жертвует ему свечки, крестится перед ним, возносит молитвы. Иначе что толку во всех этих хлопотах и расходах!

Сильвестре, живущий в мире, где каждый ради куска хлеба принужден трудиться, выбиваясь из сил, просто не мог бы чтить святого, который разрешает себе пользоваться свечами и молитвами прихожан и не отрабатывает всех этих даров.

Водрузив свою свечку перед святым Антонио, Сильвестре опустился на колени, перекрестился и приступил к молитве. У него не было молитвенника; впрочем, молитвенник все равно не пригодился бы ему — ведь читать он не умел и свои молитвы сочинял сам, как бог на душу положит. Слова «кощунство» он не знал, ему было чуждо это понятие. В Мексике вообще нет кощунства, потому что закон не предусматривает такого проступка. В Мексике каждый в ладу со своей совестью и своим богом. Мексиканские законодатели и мексиканские судьи не считают себя вправе вторгаться в неисповедимые законы господни своим человеческим рассудком. Уж если сам господь в небесах не может или не желает карать обиды и оскорбления, наносимые его величию, смеет ли прокурор, ничтожный смертный, указывать всевышнему, сколько месяцев полагается за это кощунство и сколько за то?

Сильвестре надо понять и простить. Он не сознавал своего кощунства. Прекрасно сознавал, однако, что должен получить как можно скорее свои часы и не намерен ждать, пока они будут вручены ему в раю после смерти. Часы нужны ему здесь, на земле. А к которому часу в раю положено спускаться в рудник, его, когда придет пора, оповестит тамошний начальник.

Сильвестре молился простодушно, без затей: «О дорогой мой святой Антонио, выслушай хорошенько, что я тебе скажу, потому что довольно уже тянуть эту канитель. Я потерял часы. Про это мы толковали еще в прошлое воскресенье. Спутать мои часы с другими никак нельзя: на них крупно нарисовано «С» и «Г». Таскаться сюда каждое воскресенье, сам понимаешь, не дело. Свечки, знаешь, стоят не дешево. За услугу твою я посулил немало. Неужели тебе взбрело в голову, что деньги я собираю на дороге? Там они не валяются. Я должен как проклятый гнуть за них спину. Бездельничать вроде тебя на приволье да нежиться среди свечей мне не приходится. Слыхано ли, без конца забавляться... Всем надо работать. Можешь и ты поискать мои часы. И вот что я еще хочу сказать, дорогой мой святой Антонио: жду ровно неделю, и, если часы не сыщутся, закину тебя, клянусь пречистой девой, в колодец и оставлю там, пока не доставишь мне часы или хоть не подскажешь во сне, где их найти. Ну, кажется, теперь все тебе выложил... Только смотри не забывай — мое терпение скоро лопнет!»

Сильвестре снова перекрестился, встал с колен, склонился перед алтарем и вышел из церкви, убежденный, что его искренняя мольба будет исполнена согласно завету: «Просите, и дастся вам...»

Однако и в эту неделю часы не нашлись. Нечего поэтому удивляться, что Сильвестре окончательно вышел из себя. Он решил не терять попусту времени на молитвы, убедившись в их бесполезности. Видимо, святой Антонио просто не желает похлопотать за бедного индейца, который так надеялся на его помощь. Ну что ж, потребуется, значит, очень сильное средство, чтобы напомнить святому о его обязанностях. К этому средству Сильвестре и прибегнул...

Не обладая особой изобретательностью, он не стал придумывать чего-либо нового. Просто употребил одно из тех воспитательных средств, которые применяли хозяева поместья, где он работал до того, как набрался смелости сбежать на рудник.

В субботу после обеда Сильвестре раздобыл старый мешок из-под сахара и помчался в город. Когда он явился в церковь, уже совсем стемнело. Перекрестился он и преклонил колени только перед алтарем, где стояла пречистая дева, которая пока что не причинила ему никакого зла. Перед святым Антонио индеец на сей раз не осенил себя крестом. Он хорошенько огляделся. Убедившись, что никто из молящихся не наблюдает за ним, он накинул на голову святому Антонио мешок, быстро снял статую с подставки и проворно юркнул через

ближайшую дверь на улицу. Городок был маленький, и не прошло и десяти минут, как Сильвестре очутился в предместье, на дороге, ведущей к поселку рудокопов.

Однако не в поселок направился Сильвестре со своим святым. Не дойдя даже до первой хижины, он свернул в сторону, к лесу. И вовсе не потому, что сбился с дороги — окрестности были ему хорошо знакомы, к тому же светила полная луна.



Когда он углубился примерно на полкилометра в чащу, показалась прогалина. Она, правда, уже совсем заросла, но все-таки в ней еще можно было признать давнишнюю просеку. А на этой просеке был старый, облицованный камнем колодец, сохранившийся еще с колониальных времен (*То есть до того, как Мексика обрела независимость*). Его, наверно, выкопал какой-то испанец: видимо, хотел основать там поместье.

Этим колодцем давно никто не пользовался, даже угольщики, работавшие в лесу, не пили из него. Стоячая вода в колодце была зеленой, а дно илистым от набившихся туда веток, листьев и корней. В нем было полно лягушек, головастиков, водяных жуков, moskitов, змей, ящериц и прочих созданий, обычно ютящихся в заброшенных колодцах. Лесная глушь, допотопный вид колодца, таинственные существа, в нем обитавшие,— все это пробуждало суеверный страх у жителей индейского поселка, о нем ходило множество историй, в которых действовали духи и привидения. Ребятишки прибегали к колодцу, когда их одолевала жажда острых впечатлений и приключений.

Не с легким сердцем шел Сильвестре к этому колодцу, таща на спине упрятого в мешок святого. Каждое мгновение ему чудилось — вот-вот из-за дерева выскочит привидение и учинит над ним нечто ужасное. А вдруг бог обрушит на него громы, ослепит молниями, покарает за злодеяние, им замышленное? Но был субботний вечер, а Сильвестре очень хорошо знал, что в субботу у милосердного бога нет времени заниматься рудокопом-индейцем, который всего-навсего хочет отыскать свои часы. Суббота — большая уборка, а вечером надо готовиться к воскресенью. И это не только на земле. Поэтому-то избрал Сильвестре субботний вечер для своей дерзкой затеи.

Духов колодца Сильвестре боялся меньше, чем другие жители поселка. Поскольку он не был уроженцем здешних мест, страшные сказки о колодце не вошли с детства в его плоть и кровь. Ведь если не знаешь, что за стеной лежит мертвый или даже убитый, спишь так же спокойно и безмятежно, как в номере гостиницы, которая еще слишком новая, чтобы в ней кто-то уже успел покончить счеты с жизнью.

Тот, кто трепещет от любви, кипит от ревности, неистовствует в гневе, зеленеет от досады, не видит и не слышит никаких призраков. А Сильвестре был так разъярен и взбешен, как только может быть взбешен человек, который верил в полезность святых и так горько разочаровался.

От индейца невозможно отделаться дешевыми увертками, он воспринимает жизнь практически. Лекаря, который не помогает, нужно прогнать. Нечего кормить лентяев. Когда из заработка в несколько песо, которые достаются тяжким трудом, ставишь святому свечи, чтобы он мог греть себе руки и нос, он тоже обязан отработать это. Священнику платят за мессу, и он служит мессу. Священнику платят за крещение ребенка, и он крестит ребенка, нравится ему этот ребенок или нет. Почему же для святого Антонио надо делать исключение? Может быть, потому, что он святой? Так если уж и вправду воображает себя святым, зачем ему всякие там свечи, поклоны и молитвы? Но если он всего этого домогается и пересчитывает, словно сирийский торговец ситцами в Пуэбло, так обязан за это показать, на что он способен. Ведь и Сильвестре не может у себя на руднике объявить, что он ни с того ни с сего работать сегодня не намерен, а вот жалование все-таки требует. Нет, так не пойдет...

Философствуя подобным образом о законности акции, которую он собирался предпринять, Сильвестре и думать забыл о привидениях, возможно подстерегающих его у колодца.

Сильвестре не хотел действовать чересчур скоропалительно. Он решил дать святому Антонио время одуматься и выполнить свою обязанность. Поэтому он извлек статую святого из мешка, поставил ее на каменный край колодца, разгладил коричневую монашескую рясу, которую носил святой, и обратился к нему с речью:

— Дружище, мы здесь вдвоем, наедине, и надо нам потолковать по душам. Ты можешь разыскать любую пропавшую вещь. Я знаю. Священник так говорил. Я тебе молился, ставил свечи и обещал немало за услугу. Но ты, видно, водишься только с богачами, которые ублажают тебя толстыми свечками по целому песо за штуку. Я этого не могу. Мне такое не по карману. Видишь, вот перед тобой колодец, дружище. Хорошего мало — в нем лежать: полно змей и всяких других поганных тварей. Но если ты не вернешь мне часов, попадешь в колодец и останешься там, пока их не доставишь. Каждое воскресенье бегать в город я не могу — хватает и других дел. И свечей тебе тоже больше не будет. А сейчас ты поймешь, что я вовсе не собираюсь с тобой шутки шутить...

Сильвестре вытащил из кармана крепкую веревку и скрутил петлю вокруг шеи святого Антонио. Потом приподнял статую над колодцем и с минуту держал ее на весу.

— Где мои часы, святой Антонио? — спросил Сильвестре. Святой Антонио был либо слишком свят, либо слишком своенравен, чтобы разверзнуть уста, а может, он привык к мукам куда более тяжким и теперь не устрасился, не соизволил выдать место, где находятся часы.

Но как мало проявляли доньше сострадания к Сильвестре, так же мало сострадания проявил он теперь к святому Антонио. Раз святой Антонио не пожелал ответить, он опустил беднягу на веревке в колодец, так что обнаженные ноги святого коснулись воды.

— Где мои часы? — вновь спросил Сильвестре.

И вновь святой Антонио, преисполненный гордыни, не удостоил индейца ответом.

Тут Сильвестре совсем погрузил святого в воду, потом, несколько раз обмакнув, вытащил, поставил на край колодца и сказал:

— Вот так-то... Теперь ты знаешь, каково там, в колодце. Даю тебе срок до завтра. Завтра я сюда вернусь. И если часов не будет и ты мне не скажешь, где они, я на всю неделю спущу тебя в колодец. Уж тогда-то ты наверняка расстанешься со своим упрямством!

Сильвестре хорошо знал, как на гасиендах отучают батраков от упрямства и так называемой лени. И святому не следовало жаловаться, что ныне над ним свершалось то, чего ни он, ни священники не препятствовали постоянно свершать над индейцами. И, без сомнения, если бы над всеми богами, святыми и священниками проделать то, что проделывается над рабочими, безразлично — индейцами или европейцами, религия, две тысячи лет покровительствующая насилию, давно была бы уничтожена. В Мексике недовольных батраков водворяют на двадцать четыре часа в колодец, в Европе недовольных рабочих заключают за тюремную решетку, вносят в черные списки...

Сильвестре предоставил своему святому время образумиться. Он снова сунул его в мешок и спрятал в густом колючем кустарнике. Ряса святого совсем промокла, но Сильвестре утратил всякое сострадание к строптивцу и оставил его мерзнуть в мокрой одежде.

На следующий день было воскресенье, и у Сильвестре было достаточно времени продолжать испытания святого.

К колодцу он отправился на рассвете, чтобы поскорее увидеть, не успел ли уже святой Антонио найти часы. Часов, разумеется, не было. Ни возле святого, ни в складках его теперь влажной, пахнущей гнилью мантии Сильвестре их не обнаружил, как не нашел их в своей хижине под камышовой циновкой, на которой спал...

И Сильвестре опять принялся за святого.

— Все еще артачишься? Ну хорошо же, я до тебя доберусь!

И, не тратя попусту речей и молитв, он снова спустил святого в колодец так глубоко, что тот ногами достал до самого дна. Сильвестре крепко привязал веревку к кусту, пустившему корни на каменной кладке колодца, чтобы вытащить святого, если часы все-таки найдутся в хижине под циновкой.

Проделав эту операцию, индеец предоставил святому самому освобождаться. Если же гордецу это не под силу, пускай положит часы под циновку, тогда и получит свободу.

Всю неделю у Сильвестре не было возможности сходить в лес, потому что он к вечеру так уставал, что не мог одолеть долгий путь до колодца, узнать, как там поживает святой.

В пятницу после обеда, когда шахтеры поднялись из рудника, один из них, Лосано, подошел к Сильвестре:

— Эй, Сильвестре, с тебя причитается! Сколько тебе не жалко? Я сегодня в забое нашел твои часы.

— Вот это здорово! — откликнулся Сильвестре. — Век буду благодарить! Пятьдесят сентаво тебе хватит?

— Согласен. Выкладывай деньги и бери часы. Ничего с ними не случилось, ходят, как новенькие. Даже стекло цело. Потому что я, как заметил — блестит что-то в мусоре, осторожненько разгреб его, ничего не разбил. Я сразу же смекнул — твои часы, не иначе. Буквы на них, да и рассказывал ты всем, что они у тебя потерялись.

Сильвестре заплатил пятьдесят сентаво — его товарищ взял за услугу гораздо дешевле, чем святой, — и получил свои часы.

В воскресенье он пошел к колодцу выручать святого — мучить его не имело больше смысла.

Но куст все время раскачивался на ветру, и веревка, на которой был подвешен святой Антонио, терлась, терлась о каменную кладку и в конце концов оборвалась. Поэтому вытащить святого наверх было уже невозможно, а лезть ради него в колодец не стоило, по мнению Сильвестре.

— И поделом тебе, *santito* (*Уменьшительное от santo (святой)*), лежи себе там! — крикнул Сильвестре в колодец. — Не найди Лосано мои часы, ты бы их вовек не нашел. И заплатил я ему куда меньше, чем посулил тебе за это дело. А от тебя все равно никакого проку. Невелика потеря, если ты останешься там, в колодце. По заслугам и почет...

Без господнего соизволения и воробей не умрет с голоду. Тем более не оставит господь своего святого истлевать в страшном колодце. Вот и направил он двух угольщиков по лесной дороге как раз мимо этого заброшенного места. Желая отдохнуть, они присели на край колодца и свернули по сигарете.

И когда они курили и ненароком заглянули в колодец, один сказал другому:

— Там в колодце человек, я вижу его голову и волосы на голове.

Второй спросил испуганно:

— Где?.. Верно, теперь и я вижу. Послушай-ка, парень, да ведь это же священник, у него макушка выбрита.

Они побежали в деревню и рассказали, что какой-то священник свалился в колодец. Захватив лестницу и веревки, все поспешили к колодцу выручать пострадавшего.

Вытащив его, они тут же опознали святого Антонио, который в прошлую субботу тайно покинул церковь и отправился в странствие.

Сеньор священник не объяснил прихожанам, с какой целью и с какими благими намерениями святой Антонио изволил пуститься в дальний путь. С видом заговорщика он твердил что-то о господней мудрости и господних велениях, которых не дано постичь простым смертным.

Священник хотел выиграть время и обдумать, какое толкование лучше всего дать этому загадочному странствию святого, чтобы в корне пресечь, сокрушить наконец проклятое неверие (которое, по его мнению, и без того слишком далеко зашло в среде рабочих медных рудников, что расположены поблизости от деревни). Бороться за истинную веру было обязанностью священника. Вот он и стремился в меру сил оградить свою паству от заблудших и погрязших во грехе неверия.

ОБРАЩЕНИЕ В ХРИСТИАНСТВО



Однажды индейский вождь явился к испанскому миссионеру — монаху Бальверду. Вождя сопровождали двое высокородных старейшин племени.

Патер Бальверд принял посетителей учтиво и без всякой заносчивости. Здесь нелишне будет заметить, что в первые три столетия испанского владычества в Мексике некоторые проповедники были верными и искренними друзьями индейцев. Они оберегали индейское население от жестокости пришельцев-колонизаторов, охотников за золотом. Нередко монахи-миссионеры были вынуждены даже восставать против своих собственных епископов (*Один только архиепископ Юкатана Диего де Ланда приказал сжечь на кострах все документы истории и культуры майя как «творение дьявола»*). Это нанесло колоссальный ущерб мировой цивилизации), которые, когда дело шло о том, чтобы ограбить, обобрать и поработить индейцев, обычно становились на сторону испанской короны и крупных землевладельцев. Епископы

всегда были да и остались ближе короне и крупному капиталу, чем монахи и капелланы (*Капелланы — здесь: военные священники*). Великая распря между католической церковью и народом Мексики углубилась, когда страна обрела независимость и начала приобщаться к прогрессу, к цивилизации. Церковь с прежней силой отстаивала свою средневековую власть над умами и душами, не желая поступаться даже малейшей долей могущества и влияния. Она ополчилась против всякого просвещения индейцев, неизбежного в век высокоразвитой техники.

Однако то, о чем здесь рассказано, произошло еще в те времена, когда католические миссионеры, проповедуя христианство индейцам Мексики, руководствовались не только стремлением упрочить светскую и политическую власть церкви, но и искренним желанием снять с индейцев бремя грехов и братски помочь им обрести райское блаженство на небесах. В ту пору многие монахи трудились так бескорыстно и самозабвенно, что старались не только дать своим подопечным понятие о вечном блаженстве, но и обучить их ремеслам, которые бы уже здесь, на земле, оказались полезны и многим из них обеспечили бы даже некоторую экономическую самостоятельность. Монахи научили индейцев разведению шелковичных червей, тончайшим вышивкам, глазировке гончарных изделий и многому другому.

Вполне понятно, что индейцы по доброй воле являлись подчас к священнослужителям — беседовать о религии.

Так вот, индеец знатного рода со своими спутниками пожаловал к монаху Бальверду.

Вождь сказал монаху:

— Нашими богами, особенно старшими, мы вполне довольны. Ну, а вот с младшими у нас то и дело случаются всякие неполадки. Когда нужен дождь, бог Дождя не посылает ни капли, а когда ждешь сухой погоды, бог Теплого Ветра вдруг куда-то исчезает. Такая же неразбериха и со многими другими младшими богами. Старейшины моего племени держали совет и решили, чтобы я отправился к тебе, о глашатай новой веры, послушать, не поведаешь ли нам о своих богах. Если мы убедимся, что твои боги лучше наших, то готовы признать их, а своих богов забыть. Расскажи нам про твою веру. Мы внимательно выслушаем и все, что ты расскажешь о своих богах, передадим нашему народу. А тебе объявим наше решение.

Патер Бальверд, избегая всякой напыщенности, в ясных, безыскусственных выражениях изложил сущность Евангелия так, словно рассказывал ее ребенку. Все, что могло бы внести неясность, он покамест опускал. И поступил весьма благоразумно, доказав, что прекрасно понимает, как надлежит обходиться с простыми людьми, подобными его гостям.

Вождь несколько часов кряду слушал монаха, ни разу не прервав.

Когда монах закончил, вождь сказал:

— Добрый друг мой, я выслушал все, что ты поведал мне и моим спутникам. Я мог бы ответить сразу же. Но ты объяснял так терпеливо, что мне будет досадно, если, поторопившись, я скажу что-нибудь опрометчивое и причину страдание тебе и твоим богам. Этого мне совсем не хочется. Уже ночь, я пойду отдыхать и постараюсь еще раз взвесить все услышанное. А утром вернусь и скажу, что я надумал и какое принял решение. Оно будет не поспешным, а выношенным в моем сердце. И ни тебе, ни твоим богам не причинит страдания. Ведь когда высказываешь правду, хорошо обдуманную и честную, никакой бог не может гневаться, потому что эту правду бог сам вкладывает в сердце человека. Доволен ли ты мною, друг мой?

— Конечно, брат мой, вполне доволен. Да вразумят тебя и направят на стезю истинную господь и пресвятая дева. Иди с богом!

На следующее утро, когда патер отслужил в часовне мессу и собирался приступить к завтраку, явился вождь со своими спутниками.

Монах хотел сразу же приступить к беседе.

Но вождь сказал:

— Я вижу, ты собираешься есть, будет лучше, если ты спокойно утолишь голод. Иначе ты станешь спешить. А вера не терпит спешки, ни твоя, ни моя. Поешь, будем говорить, когда насытишься.

Закончив трапезу, монах вышел к посетителям. Все расположились под одним из деревьев, тесно обступивших часовню.

Монах ничего не спрашивал у вождя и не торопил его. Он спокойно дожидался, пока вождь сам начнет говорить.

И вождь сказал:

— Я хорошо обдумал все слова, которые ты говорил. Твой бог позволил стегать себя плетью. Так ли это?

— Да, ради того, чтобы принять на себя грехи мира, — отвечал монах.

— Он позволил оплевывать себя, поносить, забрасывать грязью, позволил, точно шут, над собой смеяться, позволил в насмешку напялить на себя колпак из колючек. Так ли это?

— Да, ради того, чтобы принять на себя грехи людей, — вновь отвечал монах.

— Он позволил пригвоздить себя к бревну и умер постыдно, точно хворающая собака. Так ли это?

— Да, ради того, чтобы избавить людей от грехов.

Затем вождь сказал очень спокойно:

— Вот что мой бог вложил мне в сердце этой ночью: тот, кто не в силах внушить людям должного почтения и позволяет стегать себя, оплевывать, поносить, забрасывать грязью, не может быть богом индейцев. Тот, у кого нет ни сил, ни умения защитить себя, лишен алой крови и мужества. Такой не может быть богом индейцев. Тот, у кого нет ни сил, ни умения избавиться от бревна, к которому его пригвоздили, не сумеет ни от чего избавить людей. Такой



не может быть богом индейцев. Тот, кто, пригвожденный к бревну, скулит и причитает, как старая баба, не может быть богом индейцев.

Вождь хотел продолжать свою речь. Однако монах не сумел сохранить то невозмутимое спокойствие, какое вчера проявил индеец.

И он перебил индейца:

— Все это мой бог совершил ради спасения людей. Он страдал для того, чтобы не страдали люди.

На это индеец сказал:

— Ты говоришь, он всемогущ, твой бог, он бог бесконечной любви. Так ли это?

— Да, это так.

— Если он и вправду всемогущ, твой бог, почему он не избавляет людей от всех грехов и преступлений без того, чтобы страдать, чтобы позволять над собой глумиться, чтобы, жалостно скуля, умереть? Зачем позволяет людям совершать грехи и страдать от них? Только чтобы разыграть это тягучее, плаксивое представление? Фигляр не может быть богом индейцев.

— Но, — опять перебил монах, — бог совершил все это ради того, чтобы люди в награду за свою веру сподобились вечного блаженства.

Индеец спокойно возразил:

— К чему такой окольный путь, друг мой? К чему нужно заслужить то, что бог бесконечной любви и бесконечного могущества может раздать людям даром, как дает мне все моя мать из одной любви, ничего не требуя взамен, и не спрашивает, верую ли я в нее, поклоняюсь ли я ей. Она дарит мне все с любовью, не споря и не торгуясь, и дарила бы и тогда, если бы я ее — упаси меня от этого мой бог, — если бы я ее обидел, оскорбил или даже ударил. Моя мать превосходит твоего бога, потому что у нее больше бесконечной любви, бесконечного милосердия, а веры и молитв она совсем не требует.

Но патер Бальверд не сдавался и завел разговор о том, что, он по опыту знал, всегда производило сильнейшее впечатление на индейцев.

— Но мой бог не умер, — перебил он вождя. — Ты это вчера, наверное, пропустил мимо ушей. Мой бог воскрес через три дня после смерти и в великом блеске вознесся на небеса.

— Сколько раз? — спросил вождь кратко и сухо.

Слегка удивленный, монах ответил:

— Ну, один раз, конечно.

— И он, твой бог, с тех пор возвращался когда-нибудь?

Этот вопрос вождя прозвучал все так же сухо и четко.

— Нет, он не возвращался с тех пор, но он обещал, что когда-нибудь вернется, чтобы судить и...

— ...и проклинать, — подхватил вождь.

— Да, — подтвердил монах вызывающе, — да, чтобы проклинать всех, кто ни во что не ставил его, не верил в него, не прислушивался к его слову, не желал жить по его святому учению.

Но волнение монаха не вывело индейца из равновесия. Он спокойно сказал:

— Вот какие слова сейчас вложил мне в сердце мой бог: он умирает каждый вечер ради нас, своих индейских детей, чтобы подарить нам прохладу, покой и мир. Он умирает в ярком золотом великолепии, не осмеянный, не поруганный, не замаранный грязью. Он умирает красиво, как воистину великий бог. Но наутро он вновь воскресает. Сначала стрелы золотых лучей пронзают небосвод, затем появляется он сам, огромный, золотой, могущественный, дарует свет, тепло, красоту, изобилие, награждает цветы ароматом и красками, внушает птицам сладкие песни, вливает в стебли маиса силу и крепость, насыщает плоды сладостью и живительными соками, играет с облаками в небе и с синим ветром в море. И, как моя любимая мать, мой бог, все отдавая, ничего не требует взамен, не хочет молитв, не навязывает веры, не проклинает. А когда приходит вечер, он вновь умирает в пурпурно-золотом великолепии, не осмеянный, не поруганный, не замаранный грязью, умирает со спокойной, радостной улыбкой, благословляя нас своим последним взглядом. А утром он уже опять на небосводе — вечно молодой, вечно лучезарный, вечно воскресающий, вечно живой великий золотой бог индейцев... И вот какие слова он вложил мне в сердце напоследок: «Не отрекайся от своего

бога, милый сын, ибо нет бога величественнее, чем твой бог, — ласковый, добрый, благородный, сверкающий бог индейцев...»

А потом вождь поблагодарил патера Бальверда за радушие и дружбу, перекинул через плечо циновку, на которой сидел, и вместе со спутниками удалился к своему родному племени.

Это племя обитает в северной части Сьерра Мадры. И до сих пор оно не признает христианской веры. Влияние католической церкви в Мексике стремительно падает, поэтому нет никакой надежды, что когда-нибудь в раю крылатые трубачи и арфисты будут приветствовать это племя и еще двадцать других индейских племен. Как подобает добрым христианам, постараемся перенести это с глубоким смирением и совершенной покорностью перед вышней волей. Аллилуйя!

МАКАРИО



Макарио, деревенский дровосек, отец одиннадцати оборванных, вечно хнычущих от голода детей, лет двадцать лелеял в сердце одну-единственную мечту. Не о богатстве, не о добротном доме взамен покосившейся старой хижины, где он ютился с семьей, страстно мечталось ему. Предметом пылких вожделений дровосека был жареный индюк, которого он хотел съесть целиком, уединившись в лесной глуши, вдали от голодных ребятишек.

Никогда не доставляя утробе полного удовольствия, он должен был каждое утро, и в будни, и в праздники на рассвете покидать свое жилище, отправляться в лес, чтобы с наступлением темноты притащить на спине вязанку дров.

За эту вязанку, означавшую для него целый день работы, он обычно получал серебряный грош, а иногда и того меньше. Правда, в ненастную погоду, когда конкуренция ослабевала, ему иной раз удавалось выручать за вязанку и два серебряных гроша.

Жену Макарио прозвали в деревне Печальноглазая. Для нее два серебряных гроша были целым состоянием.

Возвратившись вечером, после заката солнца, Макарио со вздохом сбрасывал свою ношу, проходил, шатаясь, в хижину и с шумом валился на низкий, грубо сколоченный стул, который кто-нибудь из детей проворно пододвигал для него к такому же грубо отесанному столу. Потом клал обе руки на стол и говорил:

— Ах, жена, как же я устал и проголодался! Что у нас сегодня на ужин?

— Черные бобы, — отвечала жена, — зеленый перец, соленые маисовые лепешки и чай из лимонных листьев.

Еда-то была всегда одинаковой, без малейших изменений. Макарио знал ответ задолго до того, как возвращался домой, и спрашивал только для того, чтобы сказать что-нибудь и чтобы дети не думали, будто он немой, как животное. Когда потом перед ним ставились глиняные миски, он обычно спал глубоко и крепко, и жена вынуждена была его расталкивать и напоминать:

— Муженек, ужин на столе.

Потом он возносил молитву: «Благодарю тебя, господи, за бобы, которые ты нам послал», — и начинал свою трапезу. Но, едва проглотив несколько ложек, чувствовал, что одиннадцать голодных детей, уставившись ему в рот, настороженно следят, все ли он съел, надеясь, что и для них останется еще хоть по крохотной второй порции, потому что первая была такой скудной... И он переставал есть и пил только чай из лимонных листьев. И когда опорожнял глиняный кувшин, вздыхал глубоко и произносил грустным голосом:

— О боже милостивый, если бы всего лишь один-единственный раз в моей унылой жизни заполучить жареного индюка для себя одного! Тогда бы я умер счастливым и мирно покоился в могиле до Страшного суда!

И если он иногда и не удосуживался произнести столь длинную тираду, то никогда не забывал сказать:

— О боже, если бы мне всего лишь один-единственный раз заполучить для себя целого жареного индюка!

Дети столько раз слышали эти причитания, что уже не обращали на них внимания. Эти слова представлялись им отцовской благодарственной молитвой после ужина. С таким же успехом он мог бы просить тысячу серебряных песо. Не было ни малейшей вероятности, что ему когда-нибудь доведется заполучить хотя бы жареного куренка, не говоря уж об увесистом жареном индюке, мяса которого еще ни разу в жизни никому из его детей не приходилось отвеждать.

Супруга Макарио, самая преданная и самоотверженная спутница жизни, какую только может пожелать себе мужчина, хорошо знала, что ее благоверный не может спокойно есть, когда дети смотрят ему в рот и считают каждый боб, который мог бы остаться для них. Она имела все основания считать его очень хорошим мужем, потому что вряд ли могла надеяться отыскать для себя лучшего. Он не бил ее, работал не покладая рук и только в субботний вечер имел обыкновение пропустить стаканчик вина, который она ему, как бы ни нуждалась в деньгах, всякий раз сама покупала, и именно в большой лавке, потому что в кабачке за ту же цену отпускали ровно половину.

Она понимала, как тяжело он трудится, чтобы содержать семью, как сильно он на свой лад любит ее и детей, и принялась копить монетку за монеткой из тех жалких грошей, что получала за поденную работу от деревенских жителей, которым и самим-то жилось немногим лучше, чем ей.

Через три долгих года, показавшихся ей вечностью, Печальноглазая могла наконец купить самого жирного индюка на всем базаре. Без ума от радости и счастья, она принесла птицу, когда детей не было дома, и спрятала так, чтобы никто не нашел. Она ни слова не сказала мужу, когда он, как обычно усталый и голодный, вернулся домой и, как всегда, вымаливал у небес жареного индюка.

В этот вечер она очень рано уложила детей спать. Ей не надо было опасаться, что муж догадается об ее затее, потому что, сморенный сном еще за столом, он полчаса спустя вяло поднялся, поплелся к постели и свалился, будто его стукнули дубинкой по голове.

Если когда-либо во время приготовления заботливо выбранного индюка для изысканной трапезы душу и руки женщины окрыляло чистейшее чувство счастья и радости, то это был именно такой случай. Она провозилась всю ночь напролет, чтобы индюк поспел как раз за час до восхода солнца.

Макарио рано встал, торопясь, как всегда, на работу, и присел к столу подкрепиться убогим завтраком. Он не счел нужным пожелать жене доброго утра и не был приучен слышать подобное приветствие от кого-либо из домочадцев. Когда за столом обнаруживался какой-нибудь беспорядок или когда он не сразу отыскивал топор или веревку для связывания дров, он имел привычку, почти не открывая рта, невнятно ворчать. И так как разговаривал он редко и обходился только немногими, самыми нужными словами и жестами, жена всегда понимала его, никогда не ошибаясь.

Сейчас он поднялся, уже готовый уйти. И когда на секунду задержался в дверях, взглядываясь в туманную серость наступающего дня, жена подошла и встала перед ним. Она протянула ему старую корзинку, в которую был уложен аппетитно приготовленный жареный индюк, аккуратно и красиво завернутый в свежие зеленые банановые листья.

— Здесь, мой дорогой муженек, жареный индюк, которого тебе столько лет так хотелось. А теперь отправляйся с ним в самую глухую чащу, где никто тебе не сможет помешать, и целиком съешь его сам. Но сейчас не задерживайся, а то дети учуют запах жаркого и проснутся, а ты не сможешь им отказать и все раздашь. Поторопись!

Он взглянул на нее усталыми глазами и кивнул. Слова признательности никогда не срывались с его уст. Уделить кусок индюка жене ему также не пришло на ум, потому что в голове его с давних пор засела мысль о целом жареном индюке, и в эту минуту он стремился, по совету жены, исчезнуть побыстрее, пока не проснулись ребяташки.

Спустя некоторое время он отыскал в лесной чаще укромное местечко и, почувствовав сильный голод, собрался в свое удовольствие полакомиться индюком. Расположившись поудобнее на полянке у ствола могучего дерева, он со вздохом несказанного блаженства вытащил из корзинки индюка, разостлал перед собой на земле крупные, свежие банановые листья и возложил на них птицу таким движением, точно совершал жертвоприношение богам.

После пира он предполагал, растянувшись в тени, проспять весь остаток дня и таким образом устроить себе подлинный праздник, первый за всю свою жизнь...

Созерцая отменно приготовленного индюка и вдыхая его чудесный аромат — аромат, не сравнимый ни с одним из двадцати пяти миллионов ароматов, известных человечеству, — Макарио в порыве искреннего восторга, пробормотал:

— Должен сознаться, она дьявольски искусная и ловкая стряпуха... Только показать этого ей не доводилось.

Такой была наивысшая похвала и задушевнейшее изъявление благодарности, на которые он оказался способен. Его жена была бы вне себя от счастья и гордости, вымолви он хоть раз при ней такие слова. Но этого он не в состоянии был сделать, ибо при ней ему такие слова просто не шли на язык.

Он ополоснул руки в ручье, и теперь все было подготовлено именно так, как и полагается при исполнении желания, о котором человек ежедневно возносил жаркие мольбы в течение бесконечно долгих лет.

Он крепко взялся левой рукой за грудку индюка, а правую решительно занес, чтобы оторвать жирную ножку.

Но, намереваясь это сделать, он вдруг заметил как раз перед собою, не далее чем за четыре шага, пару ног. Он поднял глаза и увидел черные, плотно облегающие штаны, вправленные в низкие ботфорты. К великому его удивлению, перед ним стоял пышно разодетый кавалер, наблюдающий, как он собирается разделаться с жареным индюком. На кавалере было сомбреро невообразимых размеров, причудливо изукрашенное золотым позументом, короткая кожаная куртка, богато, как только можно себе представить, расшитая золотом, серебром и разноцветными шелками. По краю черных штанов, от пояса до тяжелых шпор из чистого серебра, было нацеплено множество золотых монет, которые чарующе звенели при малейшем движении.

Усы у кавалера были темные, а борода клинышком, точно у козла, глаза черные как смоль, близко посаженные и колючие, словно иглы.

Когда взгляд Макарио поднялся к лицу кавалера, с узких губ незваного гостя сорвался хохот, исполненный коварства. По-видимому, кавалеру казалось, что против этого, как ему чудилось, обольстительного хохота ничем не устоять ни одному человеческому созданию, будь то мужчина или женщина.

Кавалер заговорил металлическим голосом:

— Что, если бы ты, дружище, уделил добрый кусок твоего вкусного индюка голодному рыцарю? Взгляни, любезный, я не слезал с седла всю ночь и сейчас чуть не умираю с голоду. Пригласи меня, пожалуйста, во имя преисподней к своему завтраку.

— Во-первых, — опроверг его Макарио, который так вцепился в своего индюка, словно боялся, что он вот-вот упорхнет, — во-первых, дело вовсе не в завтраке. И, во-вторых, это мой праздничный пир, который я ни с кем не собираюсь разделять. Что бы ты ни выдумывал. Понял?

— Я отдам тебе свои серебряные шпоры, если ты уделишь мне жирную ножку, которая у тебя в руке, — гнул свое кавалер и облизнул губы тонким языком, который, если был бы раздвоен, мог принадлежать змее.

— Ни к чему мне твои шпоры, будь они железные, медные, серебряные, золотые или даже бриллиантовые, потому что нет у меня коня, на котором я мог бы гарцевать.

Макарио знал цену своему жареному индюку.

— Ладно, тогда я отрежу все золотые монеты, нацепленные на мои штаны, и отдам их тебе за половину грудки твоего индюка. Что ты скажешь на это?

— Эти деньги не принесут мне счастья. Если я захочу потратить хоть одну из твоих монет, меня тут же бросят в тюрьму и будут пытаться, пока я не признаюсь, где ее украл. И тогда как вору отрубят руку. Где уж мне, бедняку дровосеку, отказываться от одной руки, когда я хотел бы иметь целых четыре, если бы господь пожелал их мне дать!

Не обращая более внимания на посулы кавалера, Макарио собрался было отделить ножку индюка от тушки и наконец приступить к еде, но незнакомец снова помешал ему:

— Погляди вокруг, дружище, я властелин этого леса. Весь этот лес и все окрестные леса принадлежат мне, и я отдам их тебе, если ты уделишь мне всего только крылышко твоего индюка. Погляди — все эти леса!

— Вот уж неправду ты сейчас сболтнул, кавалер! Не тебе принадлежат все эти леса, а всемилостивому господа, потому что иначе я не мог бы рубить здесь дрова и продавать их моим односельчанам. И если ты отдашь мне эти леса как подарок или как плату за кусок моего индюка, все равно я не разбогатею, потому что по-прежнему должен буду рубить дрова для своих земляков.

Незнакомец сказал:

— Так послушай-ка, мой милый друг!

Тут Макарио сердито прервал его:

— Так послушай-ка уж лучше ты, что я тебе скажу. Ты мне не друг, и я не твой и надеюсь твоим никогда не быть. Понял? А теперь убирайся назад в преисподнюю, откуда ты явился, и не мешай мне спокойно пировать!

Франт скорчил мерзкую гримасу, испустил проклятие и заковылял восвояси, браня на чем свет стоит весь человеческий род.

Макарио глянул ему вслед, покачал головой и пробормотал:

— Кто бы поверил, что в лесу вдруг встретишь такое чудище? Всякие, однако, бывают создания на белом свете!

Он вздохнул, взялся, как прежде, левой рукой за грудку индюка, а правой решительно ухватил одну из упитанных ножек.

И снова он увидел перед собой пару ног, и как раз на том самом месте, где всего полминуты назад стоял кавалер.

Ноги были всунуты в простые мокасины, истоптанные, как будто их владелец проделал долгий и трудный путь. Путник, должно быть, бесконечно устал. Он едва держался на ногах.

Макарио поднял глаза и увидел очень доброе лицо, обрамленное негустой бородкой. На незнакомце были очень старые, но опрятные белые холщовые штаны, рубаха из той же материи, а выглядел он почти так же, как обыкновенные индейцы в округе.

Но глаза путника словно волшебством накрепко притягивали взгляд Макарио, и дровосеку почудилось, что в сердце этого усталого пилигрима сочетаются все добро и любовь земли и неба, в этих глазах он как будто видел крохотные золотые солнца, словно светлые золотые окошки, сквозь которые можно созерцать во всем его величии самого бога на небе.

Голосом, прозвучавшим словно отзвук далекого мощного органа, путник сказал:

— Поделись со мною, добрый сосед, как я поделился бы с тобою. Я голоден, очень голоден. Посмотри, дорогой брат, какой долгий путь лежит позади меня. Пожалуйста, дай мне ножку индюка, которую ты держишь, и я тебя благословлю за это. Всего лишь ножку, ничего больше. Она утолит мой голод и придаст мне новые силы, ибо долг еще мой путь к дому отца моего.

— Странник, — сказал Макарио, — ты очень добрый, самый добрый из всех, кто когда-нибудь был, есть или будет на свете.

Макарио произнес эти слова, точно молитву перед иконой пресвятой девы.

— Так умоляю тебя, мой добрый сосед, дай уж мне половину грудки твоего индюка. Целиком она тебе ведь все равно ни к чему!

— О странник! — торжественно заговорил Макарио, словно бы обращаясь к архиепископу, которого никогда не видал и знать не знал, но почитал величайшим из великих на земле. — О господин мой и учитель! Если ты в самом деле думаешь, что целиком эта птица мне все равно ни к чему, то позволь тебе возразить, хоть это мне и очень больно. О добрейший, скажу по чистой совести, что ты глубоко ошибаешься. Не следует, может, такого тебе говорить, потому

что это похоже на богохульство, но молчать невмочь, я не могу иначе, должен сказать, если даже это будет стоить мне царствия небесного. Ведь твой голос и взгляд заставляют меня говорить правду. Знай, светлейший господин, я не могу поступиться даже косточкой от этого индюка. Пожалуйста, пожалуйста, пойми меня. Этот индюк дан мне целиком, он предназначен мне одному. И если я кому-нибудь отдам хоть крохотный, не больше ноготка, кусочек индюка, это уже будет не целый индюк. По целому индюку тосковал я всю свою жизнь и если теперь, после того как заполучил его, не воспользуюсь им, это разобьет сердце моей доброй, любящей жены, которая от всего отказывалась, лишь бы поднести мне такой богатый подарок. Заклинаю, мой господин и учитель, пойми мои чувства, молю тебя, пойми бедного грешника!

Путник взглянул на Макарио и сказал ему:

— Я понимаю тебя, Макарио, мой брат и добрый сосед, я понимаю тебя очень хорошо. Будь благословен во веки веков и ешь с миром своего индюка. А теперь я пойду и, когда буду проходить мимо твоей хижины, благословлю твою добрую жену и всех твоих детей. Прощай!

Макарио провожал путника взглядом до тех пор, пока мог его видеть, потом покачал головой и сказал:

— Очень жалко мне его. Он такой усталый и голодный. Но я же просто не мог иначе. Я бы нанес оскорбление моей жене. Мне нельзя поступиться ни ножкой, ни кусочком индюка, потому что тогда это ведь уже не будет целый индюк...

Поспешно схватился он за ножку птицы, чтобы отделить ее от тушки и наконец начать вожделенный пир, и тут снова увидел перед собою пару ног. Они были обуты в старомодные сандалии, и Макарио подумалось, что это, наверно, какой-нибудь чужестранец, потому что никогда прежде не приходилось ему видеть такие сандалии.

Он поднял глаза и увидел перед собой самое голодное лицо, какое можно только представить. Незнакомец опирался на длинный посох. Лицо его было совсем лишено плоти, из одних костей были его руки и ноги. Его глаза казались черными дырами, зияющими в черепе. Во рту виднелись два ряда крепких зубов, а губ и вовсе не было.

Одет был странный незнакомец в вылинявшую голубовато-белую хламиду из материи, похожей не то на ситец, не то на шелк, не то на шерсть. На изрядно потрепанном поясе, перехватывающем одеяние чужестранца, болталась на обрывке веревки поцарапанная коробка красного дерева, в которой внятно тикали часы. И эта коробка на поясе вместо песочных часов сначала сбила Макарио с толку. Поэтому он не сразу узнал нового гостя.

Тут чужеземец начал говорить. Голос его походил на стук палки о палку:

— Я очень, очень голоден, кум, очень голоден!

— Правду ты говоришь, я это по тебе вижу, кум, — согласился Макарио, изрядно напуганный ужасным обликом чужестранца.

— Раз уж ты сам видишь это и ничуть не сомневаешься в том, что я голоден, то, мой дорогой, хоть ножку индюка, ты, разумеется, не пожалеешь отдать мне?

Макарио испустил вопль отчаяния и беспомощно заломил руки.

— Ну ладно, — сказал он наконец голосом, дрожащим от печали, — где уж смертному тягаться с судьбой? Ничего не поделаешь. Она меня все-таки скрутила. Вроде бы в руках было счастье, да, видно, оно не для меня. Никогда не заполучить мне целого индюка! Никогда, никогда, никогда! Ну ладно, кум, чего уж тут, отращивай брюхо! Я по себе знаю, что такое голод и каково это голодать! Так и быть: усаживайся, Голодный, усаживайся со мной. Половина индюка твоя, ешь на здоровье!

— О, вот это превосходно, кум! — сказал Голодный, садясь на землю против Макарио, и сделал такое движение челюстями, словно попытался ухмыльнуться или засмеяться.

Макарио было не совсем ясно, что хотел чужеземец изобразить этой гримасой — то ли думал выказать свою благодарность, то ли изобразить радость от того, что сможет наконец утолить голод.

— Я сейчас разделю птицу пополам, — сказал Макарио. Он очень торопился, опасаясь, что внезапно появится еще какой-нибудь посетитель и сократит его долю на целую треть. — Отвернись, пока я буду разрезать индюка. Потом я положу между обеими половинами мой

топор, и ты мне скажешь, какую хочешь — ту, что около рукоятки, или ту, что около лезвия. Таким способом нам легче будет разделить индюка по справедливости. Согласен?

— Вполне, кум.

Так они пировали. И славный это был пир, приправленный умными речами гостя и веселым смехом хозяина.



— Знаешь ли, кум, — сказал Макарио, — сначала я малость удивился, что на вид ты не совсем такой, как я воображал. Эта коробка красного дерева с часами, что болтается у тебя на поясе, сбила меня с толку и помешала распознать тебя сразу. А что же случилось с твоими песочными часами? Или это секрет?

— Ах, какой там секрет! Можешь разболтать хоть всему свету, если охота. Так вот, слушай. В Европе, где для меня после Китая самая обильная жатва, как-то разгорелось великое сражение. И должен тебе сказать, кум, побоище выдалось нешуточное. Задали мне там такого жару, что и молодому впору с ног сбиться. Пришлось мотаться из стороны в сторону, я чуть совсем голову не потерял и вовсе выдохся. Разумеется, при этом не приходилось уже следить за собой и соблюдать всякие там церемонии. А тут еще какой-то полупьяный болван вдруг как бабахнет прямой наводкой, и британское пушечное ядро разворотило мои песочные часы, да так основательно, что даже старый кузнец Плутон, дока в таких делах, не мог их починить. Я хотел купить новые, искал везде, но не тут-то было — их давно уже не изготавливают, разве что для украшения каминных карнизов, но, как всякая подобная чепуха, они никуда не годятся. Решил я стащить песочные часы в музей, но, к ужасу моему, обнаружил, что они все без исключения — подделка, настоящих среди них нет.

Тут он откусил кусок нежного белого мяса, и оно было такое вкусное, что заставило его на минутку позабыть обо всем. И когда он захотел продолжить разговор, ему пришлось спросить:

— Так на чем же я остановился, кум?

— Ты говорил о песочных часах из музея, которые на поверку все оказались фальшивыми.

— Верно! Вот, значит, таким манером я и лишился своих песочных часов. Но вскоре после этого пришлось мне нанести визит одному капитану. Он находился в каюте своего корабля, а корабль полным ходом шел ко дну. Вся команда уже расселась по лодкам, но он, этот самый капитан, отказался покинуть судно и решил остаться на корабле, как положено настоящему

британскому капитану. Вот он и торчал в своей каюте и делал отметки в судовом журнале. Когда я предстал перед ним, он усмехнулся и сказал: «Ну-с, уважаемый господин Костлявый, выходит, мое время истекло!» — «Так точно, капитан», — подтверждаю я и улыбаюсь при этом, чтобы облегчить ему конец и смягчить горечь вечной разлуки с родными и близкими. Он бросает взгляд на свой хронометр и говорит: «Не можете ли вы сделать любезность и подарить мне еще пятнадцать секунд, чтобы я успел внести последнюю запись в судовой журнал?» — «Согласен», — отвечаю я. И очень он обрадовался, что сумеет записать точное время своей смерти. Увидев его таким счастливым, я обращаюсь к нему: «Послушайте, господин капитан, не можете ли вы отдать мне свой хронометр? Я полагаю, он вам теперь уже ни к чему, ведь вы больше не сумеете им пользоваться, потому что на борту того корабля, на котором отныне вам придется плавать, вообще не нужно заботиться о времени. Тем более, господин капитан, что мои песочные часы повредило британское пушечное ядро и будет только справедливо, если взамен я получу хронометр, сделанный в Англии».

— Что? Значит, эти смешные маленькие часы называются хронометром? Этого я не знал, — перебил его Макарио.

— Да, — кивнул Костлявый, обнажая в улыбке зубы, не обрамленные губами, — они так называются. Но разница в том, что хронометр показывает время в сто раз точнее обыкновенных карманных, стенных или башенных часов. Ну, куманек, так на чем же мы остановились?

— Ты просил капитана насчет его хро...

— ...нометра. Верно. Когда я его попросил оставить мне свой великолепный хронометр, он ответил: «Это вы правильно придумали, потому что волею случая хронометр принадлежит лично мне и я вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Будь он собственностью компании, я вынужден был бы отказать вам в этом надежном спутнике моего жизненного пути. За несколько дней до нынешнего памятного рейса я его выверил и ручаюсь вам, господин Костлявый, можете на эту штуку положиться в сто раз больше, чем на какие-то старомодные песочные часы». Ну, я и взял хронометр себе, а корабль между тем поглотила пучина. Вот так я и вступил во владение хронометром, который нынче ношу вместо убогих песочных часов минувших времен. И говорю тебе, кум, эта английская игрушка действует так исправно, что я, с тех пор как ею пользуюсь, ни разу не оплошал. А ведь раньше бывало и так, что человек, которому уже уготованы шпага или петля, успевал от меня улизнуть. А это скверно, поверь. Когда такое случается, репутации моей наносится огромный ущерб. Но теперь уж этого быть не может...

Так они болтали, рассказывали всевозможные занятные истории, подтрунивали друг над другом, хохотали и были веселы, словно приятели, встретившиеся после долгой разлуки.

Костлявому жареный индюк явно пришелся по вкусу, и он щедро расточал похвалы женщине, так аппетитно приготовившей птицу. Всецело предавшись изысканному пиршеству, он иногда настолько увлекался, что забывал, кто он такой, и пытался языком облизнуть свои несуществующие губы. Но Макарио все понимал и видел в этой гримасе верный знак того, что гость доволен и счастлив.

— У тебя сегодня до меня было двое других гостей, правда? — спросил Костлявый в разгар беседы.

— Правда. Но откуда ты знаешь, кум?

— Ну, я приблизительно в курсе того, что творится на свете. Надо тебе знать, я в некотором роде шеф тайной полиции, управляемой... Ты же знаешь хозяина, на которого я намекаю, не подобает мне произносить его имя... А известно ли тебе, кто они такие были, эти твои гости?

— А то как же? Ты за кого меня принимаешь?

Голодный — впрочем, теперь он уже вовсе не был голоден, — проще говоря, Костлявый сказал:

— Первый был тот, кого мы обычно называем нечистый дух, дьявол.

— Я тут же догадался. В каком бы обличье ни вздумал явиться передо мной этот тип, я его всегда опознаю. Нынче он затеял вырядиться кавалером, но выдал себя своими повадками. И я сразу понял, что он самозванный кавалер.

— Если ты сразу это понял, почему же не дал ему ни кусочка твоего индюка? Этот тип может натворить тебе немало пакостей.

— А вот и не может, кум. Я знаю все его козни, и меня ему не сцапать, нет. И с какой стати я должен делиться с ним своим жареным индюком? У него ведь столько денег, что они уже не помещаются в карманах и ему приходится нашивать монеты на штаны. В ближайшем трактире он может, если придет охота, купить полдюжины жареных индюков да еще пару жареных молочных поросят в придачу. Ни к чему ему ножка или там крылышко моего индюка.

— Но второй гость был... Ну, ты же хорошо знаешь, кого я подразумеваю... Его ты узнал?

— А то как же, я ведь христианин. Его я везде узнаю. Ужасно было досадно, когда пришлось отказать ему в каком-то жалком куске, потому что я хорошо видел, как бесконечно он утомлен, как сильно голоден. Но чем заслужил я, бедный грешник, чтобы на мою долю выпала честь делиться жареным индюком с сыном господа нашего? Его отцу принадлежит весь мир и все индюки в мире, потому что он все это сотворил. Сыну своему он может дать столько индюков, сколько тот соблаговолит пожелать. Больше того: сын божий однажды вечером сумел досыта накормить двумя рыбами и пятью хлебами пять тысяч голодных, да так, что, когда люди утолили голод, еще осталось несколько дюжин коробов, полных хлебных ломтей... Ну, кум, я думаю, он мог бы насытиться одной травинкой, если бы в самом деле чувствовал голод. И вот еще что: он, которому ничего не составляет превращать воду в вино (*Деяния, которые Евангелие приписывает Иисусу Христу*), запросто может и малого муравья, что ползет по земле со своей крохотной ношей, превратить в жареного индюка, отменно приготовленного со всеми приправами, которые к этому полагаются, со всеми соусами, которые только существуют на свете. Кто такой я, я, бедный дровосек с одиннадцатью сорванцами на шее, чтобы мне дозволено было оскорблять господа нашего подношением ножки индюка, оскверненного прикосновением моих нечистых рук? Я верный сын церкви и свято чту власть и величие господа нашего.

— Прекрасно, кум, ты заправский философ. Могу тебя уверить, ты в избытке наделен здравым смыслом и твой мозг работает отлично, особенно в сфере той человеческой добродетели, которая направлена на сохранение собственного имущества.

— Вот уж о чем я отродясь не слыхивал, кум, — засмутился Макарио, приняв простоватый вид.

— Единственно, что меня озадачивает, так это только твое отношение ко мне, кум. — Разговаривая, гость обглаживал крепкими зубами последние кусочки мяса с индюшачьего крылышка. — Как это получилось, что ты мне уступил даже половину своего индюка, в то время как незадолго до того дьяволу и богу отказал в гораздо меньшей порции жаркого?

— Ах, — воскликнул Макарио и воздел руки к небу, словно хотел придать сугубую убедительность своему возгласу. — Ах, — повторил он, — с тобой дело другое, кум, совсем другое! Во-первых, я человек и по себе знаю, что такое голод и как он выматывает все силы. Никогда не доводилось мне слышать и о том, чтобы ты имел власть что-нибудь сотворять или устраивать чудеса. Ты всего-навсего только покорный слуга высшего судии. Деньжат, чтобы купить еду, у тебя тоже не водится, иначе на твоём саване были бы карманы. Правда, я скрепя сердце ни кусочка индюка не дал своей жене, хоть она и готовила его с великой любовью. Жена моя очень худа, но, как она ни худа, ты все-таки выглядишь в десять раз худее ее. Я совладал с собою и ни кусочком жаркого не побаловал моих бедных детей, которые вечно просят есть. Но, как ни голодны мои ребятишки, все-таки ты выглядишь в сто раз голоднее любого из них.

— Говори, говори, кум, — проскрипел гость, явно пытаясь растянуть в улыбку свои несуществующие губы. — Выкладывай всю правду, я стерплю! Ты только что начал свое объяснение со слова «во-первых», ну, так давай дальше и расскажи мне, что на тебя повлияло во-вторых.

— Ну ладно, — решился Макарио, — я тебе во всем сознаюсь. По чести сказать, кум, когда я тебя вот так увидел перед собою, мне тут же стало ясно, что у меня вряд ли осталось веку полакомиться хоть ножкой. Не говоря уж о целом индюке. Тут я подумал: «Пока он ест, я тоже буду есть», — и разделил индюка пополам.

С превеликим изумлением гость уставился на него своими бездонными глазницами, потом разразился искренним хохотом, который звучал так, будто палкой барабанили по пустому бочонку.

— Клянусь великим Юпитером, кум, ты светлая голова и большой хитрец! Давненько я не встречал человека, который бы оказался таким умным и находчивым в свой последний час. Воистину ты заслуживаешь, чтобы я избрал тебя для одной маленькой должности, которая внесет некоторое развлечение в мое одинокое существование. Знаешь, кум, иногда я охотно разыгрываю с людьми одну шутку — шутку, которая не вредит никому, а меня веселит и позволяет считать свою работу не такой уж неэффективной, если ты понимаешь, что я имею в виду.

— Думается, понимаю.

— Знаешь ли ты, что я сделаю, чтобы как подобает вознаградить тебя за пир, который ты столь великодушно поделил со мной?

— Что же это, кум? Что ты сделаешь? О, пожалуйста, ваша милость, не назначайте меня вашим подручным! Только не это, пожалуйста, все, что угодно, но не вашим подручным!

— В подручном я не нуждаюсь и никогда еще его не имел. Нет, речь идет совсем о другом. Я хочу сделать из тебя доктора, великого доктора. Ты затмишь всех этих ученых медиков, которые всегда стремятся подстраивать мне мерзкие каверзы и воображают, будто могут обойти меня. Ну так вот, быть тебе доктором, и обещаю, твой индюк окупится миллион раз.

При этих словах он поднялся, прошел шагов десять, глянул на песчаную землю, пересохшую от зноя, и окликнул дровосека:

— Кум, принеси-ка сюда свою флягу. Я разумею ту флягу, что смахивает на какую-то забавную тыкву. Да сначала вылей из нее всю воду.

Макарио послушался и встал рядом со своим гостем. А тот плюнул семь раз на иссохшую землю. С минуту они ждали, а потом из песка вдруг забила струйка кристально прозрачной воды.

— Теперь подай-ка мне твою флягу! — приказал Костлявый.

Он опустился на колени у только что образовавшегося маленького озера и одной рукой принялся начерпывать воду во флягу Макарио. Это продолжалось довольно долго, так как горлышко фляги было очень узким, а вмещала фляга добрый литр.

Когда фляга наполнилась, Костлявый, все еще стоявший на коленях над маленьким озером, стукнул рукой о землю, и воды словно не бывало.

— Посидим-ка опять, кум, на том месте, где мы пировали, — сказал гость.

И снова они уселись на земле. Костлявый протянул Макарио флягу и объяснил суть дела:

— Жидкость в твоей фляге сделает тебя самым знаменитым врачом нашего времени. Одна капля этой влаги излечит любую болезнь, и когда я говорю «любую болезнь», то подразумеваю все недуги, которые считаются смертельными. Но слушай и хорошенько запоминай, кум: когда иссякнет последняя капля твоего лекарства, придет конец и твоей исцеляющей силе.

Соблазнительное предложение не вскружило голову Макарио. Он сомневался, воспользоваться ли им...

— Уж и не знаю, кум, стоит мне принимать от тебя этот подарок или нет. Понимаешь, до сих пор я на свой лад был счастлив. Правда, всю жизнь я терпел голод, был всегда смертельно усталым, надрывался и маялся без надежды на то, что когда-нибудь станет лучше. Но ведь так оно вроде бы и положено мне и всем другим таким беднякам, как я. Суждена уж нам, видно, такая жизнь. Притерпелись мы к ней и по-своему счастливы, потому что стараемся в самой скверной и, кажется, совсем безысходной доле найти какой-то просвет. Знаешь ли, индюк, которым нынче мы с тобой угощались, был пределом моих желаний. Никогда не приходило мне на ум потребовать от жизни чего-нибудь поважнее. Только и хотелось заполучить жареного индюка со всеми приправами для себя одного, да спокойно съесть его целиком вдали от глаз голодных ребят, которые считают каждый кусок, что попадает в мое голодное брюхо.

— Ты же видишь, ничего не вышло. Не довелось тебе целиком съесть своего жареного индюка, потому что половину ты отдал мне. Значит, самая заветная мечта твоей жизни не сбылась и поныне.

— Ты, кум, всех лучше знаешь, что я в этом не повинен...

— Это верно. Но как бы там ни было, а твое единственное желание и по сей день не исполнилось. И если ты не расстался с мечтой купить нового индюка, то, чтобы не пришлось

ждать еще три года, тебе не остается ничего другого, как заняться врачеванием и таким способом приобрести деньги на покупку жаркого.

— Об этом я как-то еще не думал. Но мне и правда во что бы то ни стало нужно раздобыть целого жареного индюка, а там будь что будет. Если это мне не удастся, я сойду в могилу несчастнейшим из всех людей на свете.

— Ну, так слушай, кум, я должен тебе сказать еще кое-что очень важное, прежде чем мы окончательно расстанемся. Всякий раз, как тебя позовут к больному, ты около него заметишь меня. Но для всех, кроме тебя, я буду невидим. А теперь крепко запомни мои слова. Если заметишь, что я стою в ногах больного, влей одну каплю лекарства в чашку или стакан свежей чистой воды и дай ему испить. Не пройдет и двух дней, как он снова будет здоровым и бодрым. Но если увидишь меня в головах больного, не берись лучше за лечение. Потому что, когда я стою у изголовья, человек умрет, безразлично, ты ли возьмешься лечить больного или вокруг него примется шаркать целая дюжина докторов в надежде украсть его у меня. В таких обстоятельствах ты лучше не трать лекарство, которое я тебе дал, потому что это все равно без толку и для тебя прямой убыток. Знай, кум, только мне одному известно, кому из людей свыше предначертано покинуть земную юдоль, в то время как другой человек, хоть он, предположим, старше или, там, негодяй, будет и дальше обретаться на земле. И не дозволено мне передоверять свою власть человеческому созданию, которое может впасть в заблуждение или соблазн. Поэтому последнее слово всегда остается за мною, а тебе надлежит повиноваться и не оспаривать мой выбор.

— Я это буду помнить, господин! — заверил Макарио.

— Ну, и прекрасно. А теперь, кум, пора проститься. Пир был великолепный, я бы сказал экстраординарный, если бы ты понимал это слово. И, признаюсь тебе, я превосходнейше провел время в твоём обществе. Трапеза, которую ты любезно разделил со мной, укрепила мои силы на целую сотню лет. И дай бог мне вновь найти такого же гостеприимного хозяина, как ты, когда я опять так же сильно проголодаюсь, как сегодня. Весьма обязан, кум! Тысяча благодарностей! До свидания!

— До свидания, кум! — ответил Макарио, которому чудилось, будто он пробуждается от какого-то тягостного сна.

Но тут же ему стало ясно, что он вовсе не спал.

Перед ним на земле лежали тщательно обглоданные косточки индюка, половина которого с таким аппетитом была съедена его гостем. Он механически подобрал несколько оброненных кусочков мяса, сунул их в рот, чтобы добро не пропадало, и одновременно попытался восстановить в памяти и осмыслить неслыханные приключения, которые ему довелось пережить в этот день, богатый событиями.

Скоро его охватила усталость, и он прилег на землю, чтоб, как наметил с самого начала, проспать весь остаток дня в завершение пира.

В этот вечер он не принес домой ни единой щепки.

У жены Макарио не осталось в доме ни гроша, чтобы купить еды на завтра. Несмотря на это, она и намеком не попрекнула мужа за нерадивость. Ею владело какое-то безотчетное чувство огромной радости. Потому что около полудня, когда она у порога хижины стирала одежонку своих ребятишек, ее коснулся удивительный золотой луч, казалось, исходивший вовсе не от солнца, и тут же в сердце полилась сладостная музыка, будто в дальней дали зазвучал чудесный орган. С этого мгновения у нее весь день было такое ощущение, словно она парит над землею, а душа ее исполнилась неизъяснимого блаженства. Но она ничего не сказала мужу, утаила эти чувства, точно самое сокровенное свое достояние. Когда она подавала ужин, лицо ее все еще хранило отблеск золотого луча. Даже муж, случайно взглянув на нее, заметил что-то необычное. Но, слишком занятый собственными переживаниями, он ничего не сказал.

Прежде чем Макарио отправился спать — в этот вечер позже обыкновенного, потому что хорошо отдохнул днем в лесу, — жена шепнула ему застенчиво:

— Ну, как там было с индюком, дорогой муженек?

— А с чего это ты вдруг любопытствуешь, как там было с индюком? Разве, по-твоему, с ним что-то должно было страстись? Что это значит? Все было как положено... насколько я могу судить по моему небольшому опыту в поедании индюков.

О своих гостях он не обмолвился ни словом.

Следующий день для всей семьи оказался голодным. Завтрак, который разделял и Макарио, всегда был довольно скудным, но в это утро хозяйке пришлось особенно урезать порции, чтобы хоть что-нибудь осталось на обед и ужин.

Макарио наскоро проглотил несколько ложек черных бобов, приправленных стручками зеленого перца. Он не жаловался, так как отлично знал, что сам во всем виноват. Взял топор, веревку и, тяжело ступая, вышел навстречу туманному утру. Казалось, история с лекарством и всем, что с этим связано, начисто вылетела у него из головы, когда он, так же как обычно, отправился в лес на обычную суровую работу.

Но, едва только он успел сделать несколько шагов, жена окликнула его:

— Муженек, флягу забыл!

Это воскресило перед ним приключения минувшего дня и напомнило, что вчерашний знакомец был не только фантастическим призраком, созданным воображением человека с умиротворенной утробой.

— Она еще полная. — Жена встряхнула флягу. — Может, мне эту воду вылить и налить свежую? — спросила женщина, вертя пробку, вырезанную из маисового початка.

— Да, она еще полная, — подтвердил Макарио, испугавшись, что жена второпях, чего доброго, выплеснет драгоценную влагу. — Я вчера пил из лесного ручья. Давай сюда флягу, не стоит менять воду!

По дороге в лес, отойдя на изрядное расстояние от своей хижины, стоявшей на самом краю деревни, он в зарослях густого кустарника выкопал ямку и сунул туда флягу.

В этот вечер Макарио притащил такую большую вязанку сухих, крепких дров, какой ему уже много месяцев не доводилось приносить. Первый же покупатель дал за нее старшим мальчишкам два серебряных гроша, и семье показалось, будто у них целый миллион.

И на следующий день Макарио, по обыкновению, отправился на работу.

Накануне вечером он как бы мимоходом пожаловался жене, что на его флягу свалилось тяжелое бревно и расплющило ее, так пусть жена даст ему какую-нибудь другую, ведь их в доме полным-полно. Эти фляги ровно ничего не стоили: старшие ребята разыскивали дикорастущие тыквы в кустарнике.

Вечером он снова приволок тяжелую вязанку дров, но на этот раз застал свое семейство в страшной тревоге. Навстречу ему с распухшим лицом и покрасневшими от обильных слез глазами кинулась жена и закричала:

— Регино при смерти! Регино, нашему несчастному малышу, осталось жить считанные минуты!

И она затряслась от душераздирающих рыданий, слезы градом покатались по ее щекам.

Беспомощно и тупо уставился на нее Макарио, как делал всегда, когда нарушалось что-нибудь в уныло-привычной череде его семейных дел. Когда жена отошла в сторону, он заметил, что в хижине собрались соседки. Они стояли и сидели на корточках вокруг постели, где был распростерт ребенок. Семья Макарио слыла самой бедной во всей деревне и все же пользовалась общей любовью из-за своей незлобivosti, честности, скромности. Как известно, бедность — добродетель, приносящая единственную пользу: бедняки повсюду и всеми более любимы, нежели богачи.

В своем добрососедском рвении помочь бедняку Макарио женщины, узнав о болезни его ребенка, натащили в хижину всяких трав, кореньев, древесной коры — всего, чем индейцы имеют обыкновение пользоваться в подобных случаях. В этой деревне не было ни доктора, ни аптеки, и, возможно, по этой причине не было в ней и могильщика.

Каждая женщина явилась со своим целительным снадобьем, каждая предлагала собственное средство для спасения ребенка. Уже несколько часов малыша мучили самыми разными лечебными манипуляциями и заставляли глотать питье, приготовленное то из кореньев, то из трав, то из размолотой змеиной кожи, смешанной с золой сожженной жабы.

— Он слишком много съел, — уверяла одна из женщин, когда отец подошел к постели.

— Его кишки совсем перепутались, тут уж ничем не поможешь, — настаивала другая.

— Неправда, кума, вот уж неправда! — клялась третья. — Тут все дело в отравлении желудка, мальчонке конец.

— Мы сделали все, что могли, — вмешалась в разговор еще одна, — малыш не проживет и часу. Мой вот так же помер. Я уж в этом разбираюсь. По личику его вижу, у него уже крылышки растут, чтобы лететь на небо, у маленького ангела, у бедного маленького ангелочка!

Не обращая ни малейшего внимания на болтовню женщин, Макарио глядел на младшего сына, которого из шумной оравы своих детей любил, пожалуй, больше всех, потому что он был такой крохотный и так невинно смеялся. Как приятно было отцу, когда слабенький мальчик иногда взбирался к нему на колени и трогал его лицо маленькими пальчиками. Часто Макарио казалось, что единственный смысл жизни, единственное счастье — всегда ощущать возле себя беззащитное существо, беззаботно смеющееся и тыкающее кулачками в нос и щеки.



Да, ребенок при смерти, сомневаться не приходится. Зеркальце, которое одна из женщин держит у его рта, почти не мутится от дыхания, и, когда какая-нибудь из соседок прикладывает ухо к груди больного, ей с трудом удастся уловить биение сердца.

Макарио, растерявшись, не сводит глаз со своего малыша. Подойти ли поближе и дотронуться до его личика или оставаться на прежнем месте? Надо ли что-нибудь сказать жене и другим женщинам или следует потолковать с детьми, которые пугливой стайкой сбились в углу, точно чувствуют себя виновными в несчастье с братишкой? Они до сих пор не ужинали, да им сегодня и не до еды, потому что их матери ужасно плохо.

Макарио медленно повернулся, решительно шагнул к двери и вышел в темноту ночи.

Не зная, что предпринять и куда деваться, когда в доме такая суматоха, устав от целого дня тяжелой работы и чувствуя, что вот-вот подкосятся колени, он побрел по дороге к лесу. Ведь лес был его владением, его прибежищем, где он наверняка надеялся обрести покой, в котором так сильно нуждался. Добравшись до того места, где зарыл свою флягу, он внезапно остановился, раздвинул кустарник, схватил флягу и помчался обратно с небывалой быстротой.

— Дай-ка мне кружку свежей, чистой воды, — распахнув дверь, приказал он жене громким, внушительным голосом.

Исполненная новой надежды, она тут же поспешно подала ему глиняную кружку с водой.

— А теперь, женщины, выйдите все отсюда и оставьте меня наедине с моим сыном! Я хочу посмотреть, что можно для него сделать.

— Ни к чему это, Макарио. Ты же видишь, ему осталось жить на свете всего несколько минут. Лучше стань на колени и вместе с нами молись за упокой его душеньки. Он отходит!.. — возразила одна из женщин.

— Вы слышали, что я сказал? Так делайте, как вам велено! Уходите! — прикрикнул он, обрывая все пререкания.

Никогда еще жене не случалось видеть его таким властным. Она испытывала почти ужас и выпроводила вон всех соседок.

Женщины вышли. Макарио поднял глаза — перед ним стоял его костлявый сотрапезник. Ложе умирающего мальчика разделяло их. Гость обратил на хозяина бездонные черные дыры, заменяющие ему глаза, помедлил, тронулся с места и неторопливо, словно еще взвешивая свое решение, встал в ногах постели, где и оставался, пока дровосек наливал в кружку со свежей водой изрядную дозу лекарства.

Когда Макарио заметил, что гость укоризненно качает головой, ему вспомнилось: по условию для исцеления довольно одной капли. Но он спохватился слишком поздно — драгоценная жидкость смешалась с прозрачной водой и отлить ее было уже невозможно.

Макарио приподнял головку ребенка, открыл ему ротик и начал потихоньку вливать питье, стараясь ничего не пролить. К великой своей радости, он заметил, что малыш, едва коснувшись губами влаги, принялся сам охотно глотать ее, пока не выпил всю до последней капли. Сразу же он начал свободнее дышать, на его бледное личико постепенно вернулась краска, он завертел головкой, чтобы поудобнее улечься.

Отец дождал еще несколько минут и, убедившись, что сын поправляется с чудесной быстротой, позвал мать.

Мать бросила один лишь взгляд на свое дитя и упала возле него на колени с громким криком:

— Слава господу и пресвятой деве! Благодарю тебя, создатель, мой ребенок будет жить!

Когда женщины, ожидавшие на улице, услышали этот возглас, они гурьбой бросились в дом. Там они увидели, что случилось, когда отец остался с глазу на глаз со своим сыном, разинули рты и уставились на Макарио, будто узрели его впервые и был он каким-то чужеземцем.

Часом позже вся деревня собралась у хижины Макарио. Все хотели собственными глазами убедиться, что все, о чем без умолку твердили женщины, и в самом деле правда.

Малыш крепко и сладко спал, прижав кулачки к подбородку, щеки его порозовели, и было совершенно очевидно — всякая опасность миновала.

На следующее утро Макарио встал, как всегда, спозаранку, наскоро проглотил скудный завтрак, взял топор, веревку и, по обыкновению не тратя слов, отправился рубить дрова.

Флягу с волшебным лекарством он прихватил с собою и зарыл на том же месте, откуда накануне вечером достал.

Макарио ежедневно ходил на работу в следующие шесть недель, но когда однажды воротился домой, нашел там Рамиро, владельца самой большой лавки в деревне, богатейшего человека в округе. Со всей возможной учтивостью тот высказал свою настоятельную просьбу. Оказывается, жена его давно уже болеет, а теперь силы ее тают просто на глазах. Не сможет ли Макарио зайти и посмотреть на нее? Рамиро уверял дровосека, что наслышан о его исцеляющей силе и очень просит применить все умение для спасения молодой женщины.

— Принеси мне какую-нибудь бутылочку, самую маленькую стеклянную бутылочку из твоей лавки. Я подожду тебя здесь, обмозгую все дело и посмотрю, что можно сделать для твоей жены.

Рамиро принес аптечный пузырек, вмещающий одну унцию жидкости.

— На что это тебе такая бутылочка? — любопытствовал торговец.

— Предоставь уж все мне, Рамиро. Иди сейчас к себе и дожидайся меня. Мне нужно сперва увидеть твою жену, только после этого я сумею ответить, могу я или нет взяться за ее лечение. Но прежде я должен побывать в лесу и разыскать кое-какие целебные травы... Не беспокойся, она не умрет до моего прихода.

Он до половины наполнил аптечный пузырек драгоценным лекарством, снова зарыл флягу и отправился к Рамиро, жившему в одном из тех одноэтажных кирпичных особняков, что составляли гордость деревни.

Женщина, которую он там нашел, была близка к своему концу, так близка, как недавно его малютка сын.

Рамиро вопросительно глядел в глаза Макарио. Тот в ответ только пожал плечами. А минуту спустя сказал:

— Выйди пока отсюда и оставь меня наедине с твоей женой!

Рамиро не посмел послушаться. Но он жестоко ревновал всех к своей молодой и очень красивой жене, с которой обвенчался не более года назад. Даже на краю могилы она оставалась прекрасной. И он решил подглядеть сквозь замочную скважину, что станет делать Макарио.

Макарио понадобился стакан воды, и когда он рывком распахнул дверь, Рамиро, судорожно прильнувший к замочной скважине, не успел отскочить и растянулся на полу.

— Это было не слишком порядочно с твоей стороны, Рамиро, — сказал Макарио, который разгадал ревность торговца. — Вообще-то мне бы следовало отказаться от лечения твоей молодой жены. Ты недостойн ее, о чем и сам хорошо знаешь...

Внезапно он запнулся, крайне смущенный, не в силах постигнуть, что это на него ни с того ни с сего нашло. Как он, простой дровосек, самый бедный человек в деревне, дерзает отчитывать Рамиро таким тоном, какой даже окружной судья навряд ли себе позволил бы! А Рамиро, заносчивый, кичливый Рамиро, смиренно, точно нищий, стоит перед ним и дрожит от страха, боясь, что он откажется лечить его жену! И вдруг Макарио осенило: он теперь облечен великой властью и надменный Рамиро видит в нем доктора, способного творить чудеса.

Между тем Рамиро смиренно молил о прощении и слезно просил спасти его жену, которой предстояло скоро подарить ему первенца.

— Сколько ты потребуешь за то, чтобы сделать ее такой же цветущей и здоровой, какой она была раньше?

— Я не торгую своим лекарским искусством и не имею привычки называть какую-то твердую цену. Это от тебя зависит, Рамиро, определить ее. Потому что только ты один можешь знать, чего стоит для тебя твоя жена. Так что назови цену сам.

— Десяти золотых монет будет довольно, мой дорогой, славный Макарио?

— Как, только всего и стоит для тебя твоя жена? Всего только десять золотых монет?

— Ты не должен так истолковывать мои слова, Макарио! Разумеется, она стоит для меня куда больше всех моих денег. Денег я могу каждый день раздобыть достаточно, если господь продлит мне жизнь. Но если я потеряю жену, где найти другую такую, как она? Конечно, нигде в целом мире! Я увеличу вознаграждение до сотни золотых монет, но только, пожалуйста, обещай уж наверняка спасти ее!

Макарио знал Рамиро хорошо, даже слишком хорошо. Оба родились и выросли в одной деревне. Рамиро — сын купца и богатый торговец, а Макарио — сын поденщика и всего лишь бедный дровосек, к тому же обремененный многочисленной семьей. И, зная так хорошо Рамиро, он лучше кого бы то ни было понимал, что лукавый торговец, стоит только выздороветь его жене, попытается всеми способами отвертеться от уплаты вознаграждения в сто золотых монет, а если Макарио не отступится, завяжется бесконечная судебная канитель, которая может тянуться много лет. Поэтому Макарио сказал:

— С меня хватит и тех десяти монет, что ты посулил мне первоначально.

— Благодарю тебя, Макарио, от всего сердца благодарю — не за то, что ты сбавил цену, а за то, что соглашаешься лечить мою хозяйку. Никогда я не забуду, что ты для меня сделал, будь уверен в этом. Очень надеюсь, будущий ребенок тоже не пострадает...

— Не тревожься, ничего ему не сделается, — перебил Макарио, который твердо уверовал в успех, как только приметил своего тощего сотрапезника в ногах постели больной. — Принеси-ка стакан свежей воды, да поживее.

Вода была принесена, и Макарио дал торговцу добрый совет:

— Не вздумай только опять подглядывать! Потому что, запомни хорошенько, если я вдруг чего-нибудь напутаю, ты будешь виноват. Так что ничего не выпытывай и не подглядывай в замочную скважину! А теперь оставь меня наедине с твоей женой.

На сей раз Макарио тщательно следил не только за тем, чтобы израсходовать не более одной капли драгоценной жидкости, но даже постарался расщепить эту каплю пополам. Благодаря разговору с торговцем ему открылось, как чудодейственно его лекарство, если даже спесивец и богач Рамиро из-за этого лекарства унижается перед ним, дровосеком, беднейшим из бедных. Точно внезапно распахнулась завеса будущего: он откажется от прежнего тяжелого ремесла и всецело посвятит себя врачеванию. Разумеется, самым привлекательным и заманчивым в этом будущем ему представилась бесконечная вереница жареных индюков...

Его костлявый сотрапезник, стоящий в ногах больной, подметил, как он делит каплю надвое, одобрительно кивнул, встретив вопросительный взгляд Макарио.

Через три дня жена сказала Рамиро, что сомнения нет, их будущему младенцу ничто не угрожает, что она чувствует себя совершенно здоровой.

Рамиро, исполненный огромной радости, заплатил Макарио десять золотых монет не только не торгуясь, но, наоборот, с тысячей благодарностей в придачу. Он пригласил всю семью Макарио к себе в лавку, откуда дровосеку, его жене и детям было позволено взять столько, сколько они сумеют унести с собой.

Макарио построил добротный дом, купил землю и принялся возделывать свое поле — Рамиро ссудил ему сто золотых монет за очень умеренные проценты.

Сделал это Рамиро вовсе не в порыве бескорыстной признательности. Как истый делец, он никогда не давал займы денег, не рассчитывая на жирный куш. Сейчас, уразумев, что Макарио предстоит великое будущее, он счел, что превосходно распорядится своими деньгами, если предоставит их займы дровосеку и этим удержит его в деревне, куда на поклон к чудесному исцелителю скоро валом повалит народ. И наоборот, допусти он, чтобы Макарио подался в город, будет упущена большая прибыль. Ведь чем больше людей станет посещать деревню ради Макарио, тем пышнее расцветет торговля Рамиро. И в чаянии этих будущих благ торговец занялся пока ростовщичеством.

Он поставил на Макарио и выиграл, выиграл сверх самых смелых ожиданий.

Чтобы привлечь общее внимание к необычайному дару Макарио, он принялся везде и всюду расхваливать его. А как только он отправил в город соответствующие письма своим деловым друзьям, в деревню толпами устремились в надежде на исцеление больные, которых ученые врачи объявили неизлечимыми.

Вскоре Макарио мог уже возвести для себя настоящий дворец. Он скупил всю землю в округе и превратил ее в сады и парки. Детей своих он послал в школы и университеты, даже в Париж и Саламанку. То, что обещал ему когда-то незванный сотрапезник, действительно сбылось: съеденная Костлявым половина индюка окупилась миллион раз.

Несмотря на все богатство и славу самого чудодейственного исцелителя, Макарио оставался честным и неподкупным. Всякого, кто хотел у него лечиться, он спрашивал, во сколько тот оценивает свое здоровье. И как он поступил в первый раз, так поступал и во всех других случаях: позволял больным или их родственникам устанавливать цену по собственному усмотрению. Бедного старика или бедную женщину, которые не в состоянии были предложить больше, чем серебряное песо, поросенка или петуха, он лечил столь же добросовестно, как и богачей, которые иногда оценивали себя и в двадцать тысяч. Он лечил господ и дам из самого знатного общества, некоторые из них пересекали океан, приезжали из Испании, Италии, Португалии, Франции и других стран единственно с целью выпросить у него исцеление своему немощному телу.

Честный при установлении награды, он был столь же честен, применяя свое искусство. Если, оставаясь наедине с больным, он видел у его изголовья Костлявого, то откровенно сознавался, что не в силах спасти страждущего. От всякой платы он в подобных случаях отказывался. Все, кто бы они ни были, примирались с его окончательным решением без пререканий. Они не пытались спорить с ним. Он спасал приблизительно половину пациентов, посещавших его, остальные доставались его партнеру. Часто он целыми неделями не мог излечить ни единого больного, потому что бывший его сотрапезник распоряжался по-иному.

Если в самом начале практики ему удавалось делить каплю пополам, то вскоре он умудрился расщеплять ее на четыре части. А потом обзавелся всевозможными

приспособлениями и аппаратами, посредством которых можно было одну каплю дробить на множество мельчайших капелек. Но как бы он ни дробил и ни делил, с какой бы бережливостью и изощренным хитроумием ни сокращал до предела каждую дозу, лекарство все убывало и убывало с ужасающей быстротой.

В первый же месяц своей новой деятельности Макарио понял, что хранить лекарство в тыквенной фляге не годится: эти фляги не только впитывают значительную часть содержимого, но, что гораздо хуже, сквозь их стенки испаряется жидкость. По этой причине вода в таких флягах, употребляемых индейцами, всегда остается холодной даже в самый знойный день.

Он разлил лекарство по специальным флаконам из черного стекла и накрепко их запечатал. Но вот он откупорил последний флакончик и однажды обнаружил, к ужасу своему, что там осталось всего-навсего две капли. Он решил отказаться от практики и никого больше не лечить.

За это время Макарио состарился и сказал себе, что имеет право провести на покое немногие годы жизни, еще оставшиеся ему. Две последние капли лекарства он предназначил только для членов семьи, особенно для возлюбленной своей жены, которую за последние пять лет приходилось лечить уже дважды. Потерять ее было бы для него страшным несчастьем.

Случилось, что как раз в эту пору заболел восьмилетний сын вице-короля (*Вице-король — наместник испанского короля*) дона Хуана Марквеса де Казафуэрте, самого высокопоставленного человека во всей Новой Испании. Лучших врачей созвали к мальчику, но никто не в силах был помочь ему. Врачи откровенно сознались, что он страдает недугом, которого медицинская наука еще не постигла.

Вице-король слышал о Макарио, но титул, образование, высокое общественное положение обязывали его считать Макарио шарлатаном, тем более что именно так назвал этого человека некий дипломированный доктор, получивший ученое звание в университете.

Однако мать ребенка, которая и думать забыла о титуле, когда под угрозой оказалась жизнь ее сына, так неотступно просила и требовала, что в конце концов вице-королю пришлось уступить и послать за Макарио.

Макарио, который не был любителем путешествий, покидал свою деревню редко и только на короткий срок. Но приказ вице-короля надлежало выполнить под страхом смертной казни. Поэтому он отправился в путь.

Представ перед вице-королем, Макарио узнал, чего от него ждали.

Вице-король, который не верил в чудеса, совершенные Макарио, обратился к нему, точно к простолудину:

— Не сам я тебя сюда вызвал, милейший, да будет тебе известно. Это по настоянию супруги моей тебя к нам доставили, чтобы ты спас нашего сына, потому что ученые доктора, видимо, излечить его не в состоянии. Так вот, слушай! Удастся тебе и в самом деле вернуть здоровье нашему наследнику — четверть моего состояния твоя. Вдобавок ты вправе потребовать все, что бы тебе ни приглянулось здесь во дворце или в других моих владениях. Как бы драгоценно оно ни было, считай его своим. Далее, я выдам тебе по всей форме составленный диплом, который даст тебе право повсюду в Новой Испании заниматься медициной в соответствии со всеми правами и привилегиями, которыми наделен ученый врач. Наконец, ты получишь специальную охранную грамоту с моей печатью. Она предоставит тебе защиту от конфискации имущества, от ареста, чинимого полицией или солдатами, так же как и от всякой необоснованной судебной акции. Ну-с, милейший, не королевская ли это награда за твою услугу?

Макарио кивнул, но не сказал ничего. Вице-король продолжал:

— Все, что я тебе обещал в том случае, если ты спасешь моего сына, точно соответствует пожеланиям ее высочества маркизы, светлейшей моей супруги, а обещания я всегда сдерживаю. Однако выслушай, что еще я, вице-король, хочу добавить: если ты не сумеешь вылечить моего сына, я предам тебя суду святейшей инквизиции, обвинив в чародействе и союзе с дьяволом, и тебя посадят на кол и перед всем народом сожгут заживо.

Вице-король замолчал, чтобы проверить впечатление, которое его угроза произвела на Макарио.

Макарио побледнел, но опять не проронил ни слова.

— Хорошо ли ты понял все, что я сказал тебе? — спросил вице-король.

— Да, ваше высочество, — ответил Макарио, содрогнувшись, и неловко поклонился.

— Ну, а теперь идем к моему больному сыну. Следуй за мной.

Они вошли в покои принца. За ребенком ухаживали две няни. Впрочем, они не могли принести ему никакого облегчения и только наблюдали его медленное угасание. Мать не присутствовала. Она оставалась в своих апартаментах.

Мальчик метался в жару. Его кровать была из благородного дерева, но совершенно лишена всяких украшений.

Макарио оглянулся вокруг, словно отыскивая какой-нибудь знак, свидетельствующий о присутствии того, кто был его гостем на том давнем пиру. Он дотронулся также до маленького потайного кармашка, желая убедиться, что флакон с двумя последними каплями лекарства в целости и сохранности. Потом сказал:

— Ваше высочество, соблаговолите на час покинуть эту комнату. Все другие пусть также удалятся отсюда, чтобы я мог остаться наедине с больным.

Вице-король заколебался. По-видимому, он опасался, что невежественный индеец может нанести какой-нибудь вред принцу, если останется с ним наедине.

Макарио, уловившему это выражение тревоги в чертах вице-короля, невольно припомнилось, как он впервые взялся за лечение постороннего человека. Тогда это была молодая жена Рамиро, его односельчанина. Рамиро точно так же заколебался, когда Макарио объявил, что должен остаться с глазу на глаз с больной. За всю свою долгую практику только в этих двух случаях он подметил подобное выражение подозрительности на лицах родственников пациента. И он спрашивал себя, не предвстие ли судьбы, что именно сегодня, когда у него осталось всего две капли лекарства, он видит такое же подозрение у того, кто нуждается в великой услуге и все-таки не доверяет единственному человеку, способному оказать эту услугу.

Наконец он остался один на один с мальчиком. И тут же увидел своего тощего партнера: тот стоял у изголовья постели.

Оба они, Макарио и Костлявый, не перекинулись друг с другом ни единым словом с тех пор, как вместе угощались жареным индюком. Встречаясь в комнате больного, они ограничивались тем, что безмолвно обменивались взглядами. Макарио никогда не обращался за одолжением к своему куму, никогда ни одного человека, которого хотел взять Костлявый, не попросил оставить в живых. Даже двух внучат уступил он безропотно своему бывшему гостю.

Сейчас, однако, дело обстояло иначе. По обвинению в союзе с дьяволом его как чародея всенародно предадут огню. Дети его, которые сейчас занимают высокие должности, погибли в стыде и позоре, если их отец по приговору святейшей инквизиции будет обречен смерти, самой бесчестной для христианина. Все его достояние, все поместья, которые он надеялся передать по наследству детям, будут конфискованы и переданы церкви. Сама по себе утрата имущества не очень его тяготила, оно никогда не имело для него большого значения. Но очень много значило для него благополучие детей. И еще больше, чем о них, он думал в это страшное время о своей дорогой жене. Она бы сошла с ума от горя, если бы узнала, что с ним творится в этом большом чужом городе, так далеко от дома. А у нее нет даже возможности в его последний час помочь ему делом или хоть утешить словом. Вот так и случилось, что не ради собственного спасения, а прежде всего во имя своей жены он отважился вступить в спор с бывшим сотрапезником.

— Уступи мне мальчишку, — взмолился он, — уступи ради нашей старой дружбы! Никогда я не просил у тебя одолжения, ни малейшего одолжения за половину индюка, которую ты с таким удовольствием съел. Ты все дал мне по доброй воле, я ни о чем тебя не просил. Уступи мне мальчишку, и я вылью последнюю каплю твоего лекарства и разобью флакон, чтобы в нем не оставалось ни единой росинки. Сделай милость, уступи мне мальчишку! Не ради себя заклинаю тебя, а ради моей дорогой, верной, преданной, горячо любимой жены. Ты ведь знаешь или можешь себе по крайней мере представить, что для христиан означает, если кого-нибудь в их роду при всем народе сжигают живьем на колу. Пожалуйста, уступи мне мальчишку! Я и не дотронусь до богатств, что сулят мне за его исцеление. Я был бедняком, когда ты меня нашел в лесу. И я с превеликой радостью опять стану таким же бедняком, каким был тогда, и охотно опять буду рубить дрова, как в те времена, когда в первый раз встретился с тобою. Но заклинаю тебя всем на свете — уступи мне этого мальчишку!

Костлявый долго-долго смотрел на Макарио черными, бездонными глазницами. Словно прислушивался к тому, что у людей зовется голосом сердца. Потом огляделся вокруг, будто обдумывая этот случай со всех сторон в поисках самого правильного решения. Вероятно, ему было приказано взять мальчика с собой. Он не имел обыкновения выражать свои мысли лицом или глазами, но его жестикация ясно выражала и сострадание к другу, попавшему в беду, и невозможность примирить чувство и долг.

Он долго-долго не сводил пристального взора с мальчика, как будто снова и снова взвешивал мольбу Макарио, размышляя, можно ли оставить в живых ребенка, от рождения обреченного на раннюю смерть.

И еще раз он поглядел на Макарио, теперь с глубоким состраданием и сочувствием. Наконец покачал головой, медленно, будто человек в великой печали.

Он раскрыл свои бестелесные челюсти, и голос его прозвучал, точно стук узловатой дубинки по доске:

— Мне очень прискорбно, кум, но на сей раз я не сумею выручить тебя из беды. Поверь, редко мне приходилось огорчаться сильнее сегодняшнего при исполнении своих обязанностей. Я не могу иначе, я должен взять мальчика.

— Нет, ты не сделаешь этого, ты не сделаешь этого! Слышишь, ты не должен забирать этого ребенка! — кричал Макарио в беспредельном смятении. — Ты не должен его брать, ты не должен! Я не допущу!

Костлявый снова покачал головой, но больше ничего не сказал.

Тут Макарио решительным движением схватил кровать мальчика и одним взмахом повернул ее так, что его собеседник оказался в ногах ребенка.

Но Костлявый, воспарив в воздухе, с молниеносной быстротой вновь возник у изголовья мальчика.

Еще раз Макарио повернул кровать, чтобы поставить Костлявого в ногах, и опять тот в мгновение ока очутился у изголовья.

В неистовом азарте Макарио вертел, как колесо, постель больного, но всякий раз, останавливаясь перевести дух, видел бывшего сотрапезника в изголовье принца. Но все-таки продолжал безумную игру, обманом надеясь отбить добычу у смерти.

Это бесконечное вращение кровати, отторгнувшее у вечности не более двух секунд, вконец измотало старика. Он так устал, что уже не мог больше поворачивать кровать. Инстинктивно схватился он за маленький потайной карман и обнаружил, что стеклянный флакончик с двумя последними каплями драгоценного лекарства вдребезги разбился.

Значение этой утраты мгновенно дошло до него. Потрясенный, он чувствовал, как в нем гаснет последняя искра воли к жизни и надвигается пустота.

Он растерянно оглядел королевские покои, ему мерещилось, будто он пробуждается от кошмарного сна, который длился нескончаемо долго, может быть целые столетия. И он осознал, что пришел его час и бессмысленно противиться судьбе.

Глаза его блуждали по всей комнате и вдруг остановились на лице мальчика. И он увидел, что ребенок уже мертв.

Как дерево, подрубленное под корень, повалился он в изнеможении на пол.

И, распростертый бессильно, услышал он голос того, с кем когда-то вместе пировал. Но на диво мягко звучал теперь этот голос:

— Еще раз, кум, благодарю тебя за половину индюка, которую ты столь великодушно мне отдал. На целую сотню лет тягостной работы восстановились тогда мои иссякнувшие силы. Твой индюк был действительно экстраординарный, если ты понимаешь это слово. Но знай, кум, в нынешнем твоём положении тебе не спастись от лютой казни на площади перед всем народом. У меня есть один только способ избавить тебя от этого. И я сумею защитить тебя от надругательств и бесчестья. Сделаю это ради нашей старой дружбы и еще потому, что ты всегда держал себя благородно, никогда прежде не пытался меня обмануть или перехитрить. Королевскую награду получил ты и точно королевскую награду чтил ее. Поистине ты жил, как достойный человек. Будь же счастлив, кум!

Макарио открыл глаза и, запрокинув голову, увидел у своего изголовья того, кто был его сотрапезником на давнем пиру...

Жена Макарио очень встревожилась: ее муж вечером не возвратился домой. Наутро она созвала всех жителей деревни, чтобы они помогли ей разыскать Макарио. Она боялась, что с ним в лесу случилось что-то неладное и он не может без посторонней помощи добраться до дому.

Долго-долго искали они и наконец нашли его в лесной чаще, очень далеко от деревни, в такой глухомани, куда доньше никто никогда не отваживался проникать.

Макарио сидел на земле, удобно прислонившись к стволу могучего дуплистого дерева. Он был мертв. Блаженная улыбка застыла на его лице.

Перед ним на земле были расстелены банановые листья, которые служили ему скатертью, а на них лежали тщательно обглоданные косточки от половины индюка.

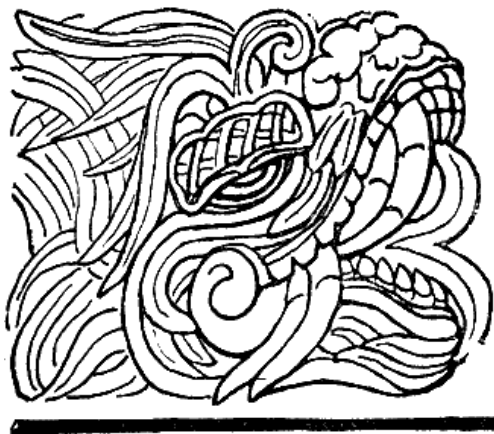
Напротив, примерно на расстоянии в три фута, были совершенно так же расстелены банановые листья, на них виднелись очень чистые косточки второй половины индюка, сложенные так аккуратно, как это мог бы сделать лишь тот, кто вкушал свою трапезу с большим аппетитом и отменным удовольствием.

Горючие слезы полились из печальных глаз жены Макарио. Увидев обглоданные косточки индюка, разделенного пополам, она прошептала:

— Хотелось бы мне узнать, ах, как хотелось бы узнать, кто это пировал с ним... Наверно, какой-то хороший, благородный и очень приятный гость, иначе он не умер бы таким счастливым, таким бесконечно счастливым...

СОТВОРЕНИЕ СОЛНЦА

Индийская легенда



Люди мирно жили на земле и были счастливы. Они радовались солнцу, которое дарило им свет и тепло, их полям — урожай, цветам — аромат и яркие краски, деревьям — тенистые шатры зеленой листвы, а птицам поднебесным — ликующие песни.

И люди чтили солнце — источник земной благодати и счастья. В торжественных гимнах они воздавали хвалу добрым богам, создавшим солнце, и созидали в их честь храмы и монументы.

Но злые боги тьмы, обитавшие в бездонных пропастях и в пучинах подземных морей и рек, замыслили овладеть всей Вселенной.

Яростная битва богов до основания потрясла небо и землю, всколыхнула жизнь людей, смешала их слова, поступки, дела.

Потоки затопили поля, смыли дома и города. Озера и реки высохли, наступила долгая засуха, и много бедствий обрушилось на землю. Но в небе сияло солнце. Оно наполняло сердца людей надеждой, поддерживало веру в победу добрых богов.

Однако злые боги заключили союз со всеми врагами добра — с духами жестокости, грубости, властолюбия, тщеславия, алчности, зависти, бессердечия, нетерпимости, беспощадности и безрассудства. Долгой и ожесточенной была битва. Злые боги одержали верх. Они убили всех добрых богов, и не предали их тела земле, а отдали на съедение гиенам и койотам. И мир наполнился стенаниями. Потому что распалось единство, разорвалось родство всего живого. Раздор и вражда вспыхнули среди земных созданий.

Истребив добрых богов, злые боги обрушились на солнце. Они ненавидели его. Их бесило, что оно светит, и греет, и ласкает всех. Они погасили его, потому что задумали уничтожить людей. Ведь люди — творение добрых богов, их доброты и теплого дыхания...

Когда солнце погасло, погребенное под снежными сугробами и ледяными горами, на землю начала опускаться вечная ночь. Только кое-где из-под снега удалось пробиться росткам маиса.

Маис рос на немногих полях, защищенных лесистыми холмами. Но мало было маиса, и многие, многие люди погибали голодной смертью. А те, что спаслись от голода, замерзали от холода. Некоторые же заблудились во тьме вечной ночи и не сумели возвратиться к родным очагам.

Не росли больше деревья со сладкими плодами, не цвели цветы, умолкли птицы.

Кузнечики и цикады в кустарнике и в прериях перестали плясать и петь.

Ни пчелы, ни жуки уже не жужжали в лесах и на лугах. И бабочки, драгоценные украшения короны добрых богов, не резвились в воздухе.

В унылом безмолвии застыл огромный небосвод, где когда-то в сверкающей лазури на тысячи ладов переливался хор веселых пестроперых птиц. А люди медленно умирали.

Медленно умирали в лесах и в прериях дикие животные. Все реже и реже удавалось мужчинам добыть на охоте зверя, чтобы накормить и одеть в теплые меха жен и детей.

Конца не виделось бедам, а жрецы напрасно старались разглядеть на небе хоть малейший проблеск света нового солнца. В вышине остались только ясные, блестящие звезды. Только они светили теперь земле. Злым богам не удалось погасить или похитить этот живой огонь. На звездах обитали души умерших. Добрые боги наделили их неиссякаемой силой и поручили вечно поддерживать сияние звезд. Потому что звезды — основа мироздания и только с помощью сверкающих звезд могут рождаться новые солнца.

Вожди всех индейских племен созвали Большой Совет, чтобы обсудить, как наперекор злым богам создать новое солнце.

Семь недель продолжался Большой Совет. Но никто не сумел сказать, как же вновь сотворить солнце.

На Совете присутствовал великий мудрец, проживший на свете уже более трехсот лет. Все тайны природы были ему открыты. Почитаемый своим народом, он жил в крепости на утесе Тональха, среди скал, нависших над волнами. Баельснаэль было его имя.

И сказал Баельснаэль так:

— О высокородные глубокочтимые вожди, единокровные братья, вернейшие из верных друзей! Я знаю, как сотворить новое солнце, огромное и прекрасное, каким было то, что я видел когда-то своими очами. Но для этого придется пройти трудный путь, чреватый тысячами опасностей. Индеец, молодой, сильный и беззаветно мужественный, должен отправиться к звездам и просить души умерших, что обитают на них, уделить ему маленькую частицу от каждой звезды. Эти кусочки звезд жарче самого жаркого огня на земле. Ими легко опалить руки. Но их придется собирать и взбираться все выше и выше. А добравшись до самой середины небосвода, надо закрепить все кусочки звезд на щите. И щит превратится в огромное сияющее пламенное солнце... Мне очень хотелось бы самому отправиться в путь и создать для людей новое солнце, но я стар и немощен. Я уже не могу ловко, далеко и высоко прыгать, как умел, когда был молод и силен. Я не смогу перескакивать с одной звезды на другую, чтобы собрать осколки звезд и подняться с ними на середину небосвода. И копье и стрелы теперь уже не подвластны мне, так что я не сумею добыть победу в битве со злыми богами, которые ополчатся против того, кто будет создавать новое солнце.

Когда мудрец кончил свою речь, все участники Совета — короли, вожди и испытанные воины — вскочили, подняли свои копья, порывисто ударили ими в щиты и воскликнули:

— Мы готовы отправиться в путь и создать новое солнце!

На это мудрец спокойно отвечивал:

— Честь вам и слава за то, что все вы так единодушно откликнулись на мои слова. Но пойти может только один. Ему одному нужно взметнуть в небо свой щит, потому что должно быть создано только одно солнце. Если солнц будет слишком много, земля сгорит... И еще хочу сказать вам: знайте, храбрец, что отважится проложить дорогу к звездам, должен будет принести самую большую жертву, на которую только способен человек. Никогда не сможет он вернуться на землю. Ему придется покинуть жену, детей, отца и мать, друзей, родной народ. Вечно будет он странствовать по небосводу со щитом в левой руке и копьем в правой. Вечный бой со злыми богами станет его делом. Никогда не смирятся злые боги, потому что солнце

ненавистно им. Тот, кто создаст новое солнце, сможет видеть свою отчизну, свой народ, своих друзей и родных. Но никогда ему не возвратиться к ним. Он увидит, как умирают его близкие, но сам он обречен на бессмертие. И с годами люди начнут забывать его. Он почувствует себя одиноким во Вселенной, навсегда одиноким. Пусть же каждый обдумает все как следует, прежде чем решиться. Умудренный годами, я предостерег вас...

Когда члены Совета услышали это, они приуныли и умолкли. Никто из них не желал на веки вечные расстаться с женою и детьми, с отцом и матерью, с друзьями и родными.

Они не страшились смерти, но хотели бы в последнем сне смежить глаза среди родных, друзей и близких. И покоиться в земле своих предков.

А более всего страшило их, что им не дано будет умереть. Обреченные жить вечно, они увидят, как, сменят друг друга, человеческие поколения рождаются, цветут и увядают. Но сами они не будут участвовать в этом извечном круговороте, не разделят общего жребия всех земных созданий.

Им придется навсегда покинуть содружество людей. Не будут больше страдать, надеяться, радоваться вместе со всеми. Узрят напасти и горести родного народа, но будут бессильны одолеть их...

Будущее открылось перед ними, и они ужаснулись, поняв, что никто из них не способен вынести неизбежную судьбу, которую предрекал мудрец создателю нового солнца.

Долгое молчание воцарилось в Совете. Оно длилось целых семь дней. Потом, на утро восьмого дня, раздался голос одного из самых молодых вождей. Он говорил так:

— О благородные высокочтимые вожди! Позвольте мне обратиться к вам. Я молод и смел. Я искусно владею оружием. Есть у меня молодая, прекрасная жена, и я люблю ее больше самого себя, потому что она — воплощение нежности и ласки, а ее благородная душа — неиссякаемый источник сладостных мечтаний. Есть у меня сын, красивый и рослый, ловкий, как тигренок, и быстрый, как антилопа. Он — кровь моего сердца... И мать моя еще жива, она заботится и тревожится обо мне постоянно, я — ее надежда и ее защита. Есть у меня славные, верные друзья, дорогие с детских лет. С ними я охотился на тигров и антилоп, с ними много раз делил опасности, голод, жажду и раны... Я сын этой земли. Сын моего народа. И я люблю родной народ, от которого неотделим, как неотделимо мое дыхание от воздуха под небом. Но могу ли я наслаждаться всем, что так мило моему сердцу, если лишен солнца мой народ, и ваши народы, о благородные владыки, высокочтимые вожди, тоже лишены солнца, и все люди, что вокруг нас живут на земле, не могут радоваться солнцу и должны зачахнуть и умереть, если не будет создано новое солнце? Как могу я быть счастлив, если вокруг такое страдание? Без солнца все живое погибнет! О доблестные мужи, я самый младший здесь, в этом Большом Совете мудрых. Но я готов отправиться в путь, чтобы создать новое солнце. И вовсе не потому, что загорелся желанием возвысить себя подвигами, одержимый жаждой почестей. На этом Совете любой достойнее меня. Но в долгом, терпеливом молчании, которое длилось семь дней, я понял, что каждый из вас, присутствующих здесь, имеет больше обязанностей перед своей страной, своим народом, своей семьей и своими друзьями, чем я, самый младший и самый неопытный в этом кругу благородных и мудрых. И я пойду в неведомое и создам новое солнце. Такую я по доброй воле избрал судьбу, такой жребий... Я сказал все, мне больше нечего прибавить...

Того, кто говорил эту речь, самую длинную в его жизни, звали Чикованег, молодой вождь скуккуитсанов, одного из племен долины Чель.

Он простился со своей женой, своим сыном, своей матерью, своими друзьями и своим народом.

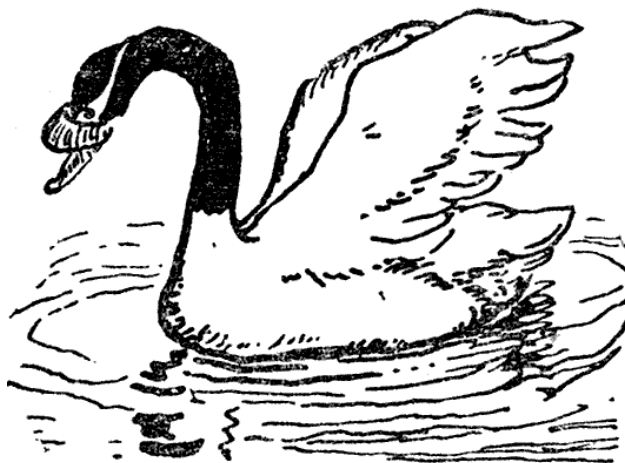
Напутствуемый советами и наставлениями мудреца Баельснаэля из Тональхи, начал он снаряжаться в путь.

Он изготовил себе прочный щит из шкуры царственного тигра, накрепко переплетенной с кожей колоссального удава — повелителя джунглей. Потом изготовил шлем из оперения могучего орла, обитавшего на неприступном утесе. Многие воины пытались поймать царя пернатых, но всех он сбивал мощными крылами, разрывал острыми когтями. Не щадил он и

тех, кто попадал в его владения, заблудившись на охоте. Однако против Чикованега оказался бессилен могучий орел...

Как-то Чикованег пришел к большому озеру. А в это время в озеро упал лебедь Кецаль, раненный каким-то охотником в крыло. Чикованег увидел, как беспомощна гордая птица. Ему стало жаль Кецаля. Он сбросил одежду и кинулся в самую глубину, чтобы спасти от гибели царственного красавца. Но злой дух, притаившийся в высоком прибрежном камыше, поймал рыбу и велел ей спешить в подводное царство и сказать Повелителю Вод: «Создатель Солнца плывет по озеру, и его легко погубить».

Поднялась на озере сильная буря, из пучины вздыбились пенистые волны, закружились кипящие водовороты, втягивая смельчака на дно. Но сильными руками он пробивался вперед и вперед, пренебрегая уловками врагов, ждущих его гибели.



Доплыв до великолепной птицы Кецаль, он посадил ее себе на голову. И всем злым богам назло Кецаль указывал ему направление к берегу: своими зоркими глазами лебедь гораздо раньше Чикованега различал клубящиеся водовороты и видел, куда нужно плыть, чтобы не сорваться в пучину. Так они благополучно выбрались на сушу.

Чикованег — Зажигатель Солнца заботился о Кецале и лечил его раненое крыло. А когда прекрасный лебедь снова мог взлететь, он сказал Чикованегу:

— Я знаю, ты много лет ищешь Пернатую Змею. Она томится в заточении в Тулльомской пещере. Я укажу тебе путь к ней.

Злые боги, победив и умертвив добрых богов, повсюду искали Пернатую Змею. Им удалось схватить ее. Но убить свою пленницу они не посмели, хоть им очень этого хотелось.

Злые боги бросили закованную в цепи Пернатую Змею в Тулльомскую пещеру, где обитал злой волшебник Бруйо Маскесаб.

Они дали Маскесабу много золота, жемчугов и сверкающих алмазов, похищенных из храмов Тоналха, Чамо, Сбктон, Сотслюм, Симойбла.

Маскесаб был очень доволен щедрой наградой. Ему нужны были горы золота и камней: блеском сокровищ злой волшебник обольщал самых прекрасных женщин, похищал их, а потом убивал.

Маскесаб приковал Пернатую Змею к огромному камню в глубине пещеры. И нанял в сторожа одного злого человека. Тот звался Молеванег и был колченогий, что еще более ожесточало его сердце.

Для злого Молеванега было удовольствием днем и ночью терзать и мучить Пернатую Змею. Закованная в цепи, она не могла защищаться. А он упивался ее страданиями.

Но однажды ночью Пернатой Змее все же удалось схватить злого Молеванега за кривую ногу. Проглотить своего врага она не сумела, потому что была туго скручена цепями, но крепко держала его, а он неистово вопил и стонал от боли, пока наконец не сдох с голоду. Тогда Пернатая Змея выплюнула его из пасти, и Молеванег рассыпался прахом.

Однако вопли и стоны Молеванега дошли до ушей Маскесаба, в то время бродившего по стране в поисках новых жертв, которых он собирался обольщать сверканием своих драгоценностей.

Маскесаб поспешил к пещере. Но нашел там всего только кучку пыли.

Тут на дороге показался Чикованег. Переодетый в рубище, он замаскировался безобразным горбуном, усыпанным бородавками и обросшим дремучим лесом волос. И выглядел он таким голодным, точно у него во рту целый век не было ни крошки.

— Хочешь наняться сторожем? — спросил его Маскесаб.

— Да, — ответил Чикованег. — Я хороший сторож змей, потому что ловлю змей ради их кожи. Ни одна змея, даже самая здоровенная, не сумела удрать от меня.

Маскесаб не догадался, что перед ним Чикованег, ведь тот принял совсем другое обличье и разговаривал, словно простолюдин, ищущий работы. И Маскесаб взял Чикованега в сторожа.

Долго размышлял Чикованег о том, как одолеть злого волшебника, и пришла ему в голову хитрость: он решил опоить Маскесаба сладким зельем из дурманных трав.

У Маскесаба было сорок глаз, четыре головы, восемь рук и восемь ног. И, когда укладывался спать, он превращался в огромного тарантула, который зарывался в траву и мог держать настороже десять глаз открытыми, пока остальные тридцать дремали.

Немало потребовалось времени и терпения, но Чикованегу все же удалось так напоить своего хозяина сладким зельем, что тот захмелел, все сорок глаз его сомкнулись в глубоком сне, а руки и ноги бессильно раскинулись по земле.

И тогда Чикованег подкрался к спящему и умертвил злодея своим мечом, отравленным сотней ядов, секрет которых ему открыл когда-то мудрый Баельснаэль.

Свершив задуманное, Чикованег принялся освобождать Пернатую Змею. Но на ней было так много цепей, что миновали долгие часы, прежде чем он разбил оковы. Ведь волшебник Маскесаб спаял из них капкан, какого не было и у самых искусных охотников. Наконец упали последние цепи. Но Пернатая Змея, истомленная долгой неволей, не хотела воспользоваться неожиданно обретенной свободой.

Тогда Чикованег у входа в пещеру принялся петь сладостные песни, наигрывать на флейте нежные мелодии, танцевать разные танцы. Танец охотников, и танец антилоп, и танец лебедей, и танец тигров, и танец ста огней. И когда танцевал он танец цветов в ночи и танец мотыльков у ручья, из пещеры появилась Пернатая Змея.

Счастливая, свободная, Пернатая Змея ликовала. К ней вновь вернулась утраченная сила. Благодарная Чикованегу — Зажигателю Солнца, она с этого дня всюду сопровождала своего избавителя, повинаясь его приказаниям.

А Чикованег продолжал свое великое странствие. Спустя многие, многие годы, после несчетных битв и побед, одержанных над полчищами врагов, он пришел наконец на край света. Там, к своей радости, он увидел звезды низко над землей, и так близко, что ему почудилось, будто он может легко дотянуться до них рукою.

Он отправился на охоту и поймал орла и орлицу. Птицы эти царственного рода и некогда были вестниками добрых богов. Чикованег не умертвил их, но попросил у них прощения за то, что взял их в плен. И орлы сказали ему:

— Мы знаем, тебе нужны наши мощные крылья, чтобы вознестись к звездам. Ведь ты Чикованег — Зажигатель Солнца. Слушай же, Чикованег, мы по доброй воле отдадим тебе наши крылья и научим, как владеть ими.

И Чикованег привязал себе два мощных крыла к рукам и два к ногам. Когда орлы научили его владеть крыльями, он зажал громадных птиц под мышками и полетел на скалу Такйнвайтс. Там он посадил их в расселину, надежно спрятав, чтобы они, теперь лишенные крыльев, не были съедены хищниками.

Орлы сказали:

— Здесь и вправду удобное гнездо. Здесь мы будем дожидаться солнца. И когда ты создашь солнце, у нас отрастут новые крылья и мы полетим приветствовать тебя!

Чикованег простился с орлами и, выбрав укромное место на краю света, принялся снаряжаться. На голову надел шлем из орлиных перьев, на левой руке укрепил щит из шкуры царственного тигра, накрепко переплетенной с кожей колоссального удава. В правой руке сжал тяжелое копье с длинным острием, искрящимся золотом, на ладони натянул лапы барса, на ступни обул сандалии, сплетенные из сухожилий молодой антилопы, к рукам и ногам привязал

мощные крылья орлов, тело окутал шкурой льва и накинул на себя просторный, развевающийся по ветру плащ из перьев самой дивной в мире птицы из страны Чиилюм.

Пернатая Змея была рядом, ожидая его приказаний.

И сказал Чикованег:

— Я готов! Пора начинать.

И сказала Пернатая Змея:

— Прыгай, Чикованег — Зажигатель Солнца. Прыгай. Ты не упадешь. Я рядом с тобою, я охраняю тебя. Не смотри по сторонам. Не оглядывайся назад. Смотри только вперед. Прыгай, Чикованег.

Когда Чикованег собрался прыгать, он вдруг заметил, что нижняя звезда находится гораздо дальше, чем ему представлялось.

Чикованег испугался:

— О Пернатая Змея, если я не допрыгну до звезды и свалюсь в холодную, черную бездну, что тогда будет? Злые боги меня схватят...

И отвечала Пернатая Змея:

— Не думай об этом, Чикованег. Прыгай без страха. И забудь о холодной, черной бездне и о злых богах. Вспомнишь о них позже, когда достигнешь своей цели!

Чикованег изготовился для прыжка, но снова устранился и сказал:

— До нижней звезды слишком высоко. Как до нее допрыгнуть?.. О, если бы найти мне здесь вершину высочайшей горы! А если уж нет горы, то хотя бы высокий утес. А если уж нет утеса, я удовольствовался бы и скромным холмом. А если и холма никакого нет, я обрадовался бы хоть рослой пальме. Была бы у меня тут пальма, я наверняка бы отважился прыгнуть!

И снова отвечала Пернатая Змея:

— Прыгай, Чикованег! Не смотри по сторонам. Не оглядывайся назад. Смотри только вперед. Прыгай, Чикованег!

Но Чикованег — Зажигатель Солнца вновь устранился. И сказал:

— Мой щит ослабел на руке, нужно его снова закрепить. А ремни моих сандалий плохо затянуты и, точно путы, связывают мне ноги. Я наверняка не допрыгну, если сначала не закреплю щит и не затяну ремни.

Пернатая Змея терпеливо следила за тем, как Чикованег закреплял щит на руке и как развязывал, а потом накрепко затягивал ремни сандалий. Немало времени понадобилось ему для всего этого. Наконец он поднял глаза на ближайшую звезду, посмотрел по сторонам, оглянулся назад, и снова сомнение охватило его.

И снова сказала Пернатая Змея:

— Прыгай, Чикованег. Не смотри по сторонам. Не оглядывайся назад. Смотри только вперед. Прыгай, Чикованег!

Чикованег приготовился к прыжку. А Пернатая Змея молниеносно распрямилась и толкнула его в спину с такой силой, что он стрелой полетел вверх и с размаху упал на ближайшую звезду.

Придя в себя, Чикованег мгновенно вскочил, отыскивая свое копье, далеко отлетевшее при стремительном падении, отряхнул плащ и отправился приветствовать хозяев звезды.

Души умерших, обитавшие на звезде, оказались черны ликом, потому что были не индейской крови. Он поведал им, что явился с земли, где навеки оставил свою жену, своего сына, свою мать и свой народ ради того, чтобы создать новое солнце для людей, лишившихся благодатного света и тепла. А для этого ему нужен кусочек их звезды. И они охотно вручили ему кусочек своей звезды. Чикованег прикрепил его к своему щиту, и на щите засверкала лучистая малюсенькая звездочка. Ее свет озарил смельчаку путь сквозь крошечную тьму и рассеял его уныние. Он ощутил себя сильным и смелым, словно юный бог.

Гигантскими прыжками перепрыгивал Чикованег со звезды на звезду. И на какой бы звезде он ни появлялся, души умерших давали неожиданному гостю по маленькому кусочку своей звезды. Не отказывали даже тогда, когда звезда была крохотной, едва заметной.

Различны обликом и речью были обитатели звезд. Черные, желтые, белые, все они с одинаковым радушием и приветом вручали свой дар Зажигателю Солнца. Когда же Чикованег явился на звезду, где обитали души умерших индейцев, он был принят с особой

торжественностью. Соплеменники гордились подвигом героя. Они заострили его оружие. Он беседовал со своими предками, они давали ему добрые советы, желали счастья и побед над врагами.



Свежий, исполненный радостного мужества, Чикованег продолжал свой нелегкий путь. С каждым прыжком от звезды к звезде все ярче и ярче сверкал его щит и наконец сверкающим великолепием затмил самые крупные звезды.

Тут злые боги увидели Чикованега, поняли, что вот-вот над землей может вспыхнуть новое солнце. Гнев охватил их. Сначала они смеялись над Чикованегом, убежденные, что дерзкий на свою погибель затеял этот неслыханный подвиг. Но теперь в свирепом неистовстве обрушили на него всю свою ярость.

Под натиском злых богов вздыбилась земля и содрогнулись звезды. Казалось, несдобровать Чикованегу: он неминуемо промахнется, прыгая со звезды на звезду, сорвется, рухнет в холодную, черную бездну. Там ему не спастись. Ему не поможет даже Пернатая Змея, потому что с незапамятных времен духи тьмы и ужаса властвуют там.

Но Чикованег был умен и хитер. А за время своего долгого странствия стал терпеливым и мудрым. И ничего теперь не делал в необдуманной спешке.

Смеясь, распевая песни, обмениваясь с Пернатой Змеей рассказами о приключениях, он спокойно выжидал. И когда на краткий миг во Вселенной воцарялось затишье, он совершал свой отчаянный прыжок и оказывался на звезде прежде, чем вновь начиналась вихревая пляска земли и неба.

Случалось, звезда была очень мала и трудно различима. Тогда Чикованег обращался к Пернатой Змее. Зорким взглядом она угадывала расстояние, и он мог правильно соразмерить свои силы, чтобы не промахнуться, не сорваться, не рухнуть в холодную, черную бездну, где властвуют духи тьмы и ужаса.

Бывало и так, что чересчур далекой оказывалась звезда. Не добраться бы до нее Чикованегу, но первой прыгала Пернатая Змея. Ее хвост, извилистый, длинный, казался во мраке ночи мерцающей золотой дорожкой. На эту дорожку и прыгал Чикованег и карабкался по нему и так добирался до самых-самых отдаленных звезд.

Выше и выше поднимался Чикованег по небосводу, ярче и ярче блестел его огромный щит. И пришел час, когда люди на земле заметили этот блеск в небесах. Они поняли — скоро, скоро взойдет для них новое солнце. И началось ликование.

Теперь люди видели путь Чикованега. В тревоге переживали они и все его триумфы, и опасности. Когда расстояние от звезды до звезды казалось им слишком большим, они страшились, что Чикованегу не удастся допрыгнуть, и глубокое смятение овладевало ими. Они зажигали на горах огромные костры, чтобы Чикованег знал: люди помнят о нем. И он знал: с ним их чаянья и мечты, поэтому нужно ему правильно рассчитать свой прыжок. И укреплялись его отвага, сила и стойкость.

Люди на земле видели и козни злых богов. Сотни и сотни раз трепетали они за Чикованега и от всего сердца желали ему победы.

А щит Зажигателя Солнца украшали новые и новые лучи звезд. И когда неисчислимые полчища врагов теснили героя, он поднимал щит и обращал его на лица своих преследователей. И от нестерпимого блеска слепли у них глаза. Секиры, копья и стрелы пролетали мимо него.

Надежно прикрытый щитом, Чикованег твердой рукой направлял свои стрелы и бросал копье. И без счета уничтожал злых духов.

На копье его было длинное сверкающее лассо, на стрелах — длинные сверкающие нити, прикрепленные к тетиве. Потому-то копье и стрелы, попав в цель, вновь возвращались к нему в руки.

Злые боги поняли, что Чикованег несравненно превосходит их в силе, хитрости, уме и храбрости. И они отступили и обрушили свою месть на людей. Потому что люди, ободренные примером Чикованега, перестали страшиться злых богов, подчиняться им, строить в их честь храмы и курить фимиам.

Злые боги, бессильные перед Чикованегом, ополчились против людей. Понеслись над землей ураганы, разрушавшие хижины и города, опустошавшие поля и луга. На цветы и плоды напали черви. Крысы разгрызли и пожрали молодые ростки и побеги злаков и трав.

Злые боги затопили землю потоками воды, И захлебывались в воде люди, тонули животные.

Злые боги взломали высокие горы и скалы. Из гор и скал хлынули огненные реки, и ядовитый дым окутал все вокруг, люди задыхались.

Злые боги неистовствовали. Им хотелось стереть с лица земли всех людей, всех зверей и птиц прежде, чем на небе взойдет новое солнце.

Не знал от них покоя и Чикованег. Они швыряли в него раскаленные камни, но он, отбиваясь, продолжал свой путь по небесному своду. А тысячи и тысячи раскаленных камней все летели вслед ему. Так много их было, что и поныне еще иногда грохочут они в небе.

Наперекор всем козням выше и выше взбирался Чикованег, а щит его все более уподоблялся солнцу.

Распустились цветы, выросли деревья, созрели плоды, налились стебли маиса. Никогда никому не доводилось видеть такого пышного цветения земли. Она ликовала, приветствуя рождение нового солнца.

Звери опять населили леса. Стада антилоп помчались по прериям. Птицы защебетали в гнездах. Реки и озера наполнились рыбой. И женщины, отправляясь за водой, приносили кувшины, где было много рыбы и мало воды.

Природа своим радостным изобилием взывала к людям: не страшитесь печалей и бедствий — их больше не будет на свете!

И однажды люди увидели высоко над собою новое солнце, сиявшее на небосводе невиданным блеском.

Тогда начался у людей великий праздник. Праздник Солнца во славу Чикованега, пышный праздник в старинном городе Чамо.

На этот великий праздник Солнца явились тысячи и десятки тысяч людей из многих городов, деревень и поселков. А когда закончился праздник, все вновь возвратились в родные края с весельем и доблестью в сердце.

Не покладая рук принялись люди за работу. Они возводили большие дома и прекрасные храмы. И построили священный город небывалой красоты. Этот чудо-город человеческих

свершений и надежд расположился на востоке, и солнце особенно щедро одаряло его теплом и светом.

Чикованег, отважно завершивший свой подвиг, очень устал. Но не может он предаться отдыху, не дано ему покоя. Ведь, к прискорбию людей, не всех злых богов уничтожил он — слишком уж их много.

И они всегда стремятся погасить солнце и погубить Чикованега, а людей утратить, стереть в их душах память о свете и добре, заставить вновь поклоняться силам зла и мрака.

Злые боги окутывают землю плотными черными тучами, наводящими ужас. И тогда люди впадают в уныние — им кажется, будто солнце вновь угасло. Но Чикованег, отважный воин, всегда на страже и высоко держит свой лучезарный щит. Когда злые боги запугивают людей бурями и тьмою, он приходит в ярость и мечет над землею сверкающее копьё, чтобы поразить злых богов, затаившихся в черных тучах. В праведном гневе против сил зла и мрака отважный потрясает солнечным щитом. Тогда глухо громяют небеса.

А когда Чикованег обращает в бегство злых богов, загоняя их в подземные глубины, он торжествует победу. В радости и веселье рисует он радужными красками громадную и прекрасную дугу, подобную мосту, по которому можно подняться с земли к небу. Любуясь этим многоцветным мостом, люди знают: можно спокойно жить и трудиться на земле — ведь в небе всегда на страже неустрашимый, храбрый Чикованег — Зажигатель Солнца, надежда и защита человечества...

* * *

Годы шли за годами. Щедры были урожаи, обильны плоды, полноводны реки, густо заселены леса. Люди радовались свету дня. Но все еще опасались сумрака ночи.

Между тем сын Чикованега вырос и возмужал. Однако он был всегда печален и любил предаваться мечтам. Казалось, думы юноши больше на небе с отцом, чем на земле с людьми. Соотечественники прозвали его Уачиногванег.

Однажды Лекйлантс, мать Уачиногванега, возвратилась домой с праздника Солнца и увидела, что сын ее сидит в тени дерева, погруженный в глубокое раздумье.

Мать подошла к Уачиногванегу и спросила его:

— Сын мой, почему ты так печален? Все люди веселы, все радуются лучезарному солнцу, которое создал твой отец...

Уачиногванег встал, склонился перед своей матерью, коснулся носом ее руки в знак приветствия и ответил:

— О моя благородная и любимая мать! Как же не быть мне печальным среди людей, которые столь веселы? Отец мой совершил величайшие подвиги на земле и в небе, а я теперь уже совсем взрослый, но не сделал еще ничего, чтобы стать достойным имени отца, чтобы почтить славными подвигами его и тебя, дорогая моя мать!

И сказала ему мать:

— Не печалься, сын мой. И твой отец, и я хорошо знаем, что ты во всем достоин его. И если бы не было на небе солнца, ты бы, разумеется, хоть сегодня отправился в суровый путь и создал новое солнце, как это сделал твой отец, когда ты был еще совсем мал и слаб. А сейчас ты возводишь дома, где накрепко связаны камень с песком и известью. В них люди находят приют от бурь и непогод. И благодарят тебя...

И ответил Уачиногванег:

— Конечно, мать, нужно строить дома. Но сейчас это уже не влечет меня... Многих юных, сильных и усердных обучил я строительному делу. Те, кому я передал мое мастерство, строят теперь не хуже меня. Но дома возводятся и разрушаются, и никто не вспоминает о том, кто был человек, который их создал, и как звался он.

И сказала мать:

— Сын мой, не могут же все люди создавать новые солнца. Нужно также строить дома, обрабатывать поля, дубить шкуры, плести циновки, формовать горшки, валить деревья, охотиться на зверей, ловить рыбу. Потому что, если не делать всего этого на земле, какая же польза от лучезарного солнца в небе?

И ответил Уачиногванег:

— О моя почтенная мать, ты мудра и рассуждаешь мудро. Но ты женщина, а я мужчина, и мысли мои идут иной тропой. Сидя там, под деревом, я советовался с отцом, как часто делаю это, когда остаюсь один. Я хочу навестить его, мать. Хочу принести ему привет от тебя.

И сказала мать:

— Теперь я знаю, ты такой же, как твой отец. Никакая женщина — ни мать, ни супруга — не может воспрепятствовать мужчине зрелого ума свершить то, что он задумал свершить... Проводи меня домой, сын мой. Чувствую, дают себя знать годы, и мне нужна крепкая рука, на которую с уверенностью можно опереться.

Уачиногванег проводил мать домой. И, когда помог ей удобно расположиться, вышел за порог и увидел, что наступила ночь.

Мать позвала его в дом. И когда он вернулся, погасила свет и запорошила золой огонь в очаге.

Однако Уачиногванег оставил дверь приоткрытой, потому что хотел снова созерцать звезды и думать.

И сказала ему Лекилантс, его мать:

— Подойди ко мне, сын мой, и присядь около меня. Но сначала выгляни за дверь. Погляди, как темна ночь. Я боюсь, сын мой, я боюсь темной ночи!

И ответил Уачиногванег:

— Не бойся, мать, не бойся, я с тобой.

И сказала Лекилантс своему сыну:

— Да, ты со мной, и я рада и ничего больше не боюсь. Но есть много, много матерей, у которых погибли сыновья. И есть много, много матерей, у которых никогда не было сыновей. Есть и такие, которые одиноки, потому что их сыновья далеко и заняты своими собственными заботами. Все эти бедные матери боятся темных ночей, как и я боялась бы, не будь у меня тебя. И вот я все думаю: как хорошо было бы, если бы людям и ночью светило солнце. Хочется мне знать, кто отважится создать малое Солнце Ночи. Мать этого мужчины и отец его могли бы очень гордиться сыном, совершившим такой подвиг. Правда, малое Солнце Ночи создать гораздо труднее, чем большое Солнце Дня. Творцу большого Солнца понадобились доблесть и отвага. Чтобы создать малое Солнце, требуется, быть может, меньше мужества, но необходимо нечто иное, что ценится столь же высоко или еще выше, чем доблесть и отвага. Творцом Солнца Ночи станет только человек, который разумен и мудр. Солнце Ночи должно давать свет, но не тепло, иначе люди, звери, птицы, деревья, цветы и растения не смогут отдохнуть от дневного жара. Они лишатся сил без сна, задохнутся, зачахнут, опаленные зноем. Всему живому на земле нужен отдых и сон — источник живительных сил...

И ответил Уачиногванег, подумав минуту над словами матери:

— Ты бесконечно мудра, моя мать. Создать Солнце Ночи трудно. Я понимаю это.

И сказала мать снова:

— Намного труднее, чем ты думаешь, сын мой. Солнцу Ночи нельзя светить непрерывно, нельзя нарушать покоя людей, животных и растений. Только по временам должно давать полный свет Солнце Ночи. И надо, чтобы свет этот постепенно увеличивался, а когда достигнет своего предела, снова уменьшился. Так все, что живет и растет на земле, привыкнет к чередованию света и тьмы. И люди, отправляясь в странствия, будут заранее знать движение Солнца Ночи. А иногда оно и вовсе должно померкнуть, чтобы люди, радуясь многообразию мира, любовались звездами и прелестью сумрака... Я знаю, нет человека столь разумного и искусного, и некому создать Солнце Ночи. И все же, сын мой, хорошо лелеять мечту, мечту, которая есть у твоей матери.

И ответил Уачиногванег:

— У меня никогда не было такой чудесной мечты, мать. Но я рад, что ты поделилась со мной своей чудесной мечтой. Я никогда ее не забуду.

Спустя некоторое время, Лекилантс увидела, что ее сын, присев на корточки, рисует круги на песке. Она подошла к нему и спросила:

— Что ты делаешь, сын мой, чем ты так озабочен?

Уачиногванег ответил:

— Мать моя, я создам Солнце Ночи, как отец мой создал Солнце Дня. Я много размышлял и теперь понял, как устроить, чтобы оно только светило, но не грело, чтобы свет его постепенно увеличивался, а когда достигнет своего предела, снова уменьшался, иногда же и совсем исчезал.

Лекилантс засмеялась и сказала:

— Всем сердцем радуюсь я, сын мой, что ты задумал создать Солнце Ночи, чтобы отступила ночная тьма и матери больше не боялись темных ночей. Иди, милый сын. Мое благословение с тобой на всех твоих тропах. Придешь к своему отцу — приветствуй его от моего имени. Передай — я всегда его помню. А когда ты, сын мой, создашь Солнце Ночи и я увижу, как оно впервые засияет над землей во мраке, я буду знать, что дни мои истекли и можно уйти с земли мне, супруге доблестного мужа и матери мудрого сына.

Уачиногванег простился со своей матерью и ушел из родного дома. Он отправился на поиски Пернатой Змеи. В пути он повстречал мудреца Наеванега и спросил его:

— О мудрец, не скажешь ли ты мне, где найти Пернатую Змею, чтобы создать Солнце Ночи?

И мудрец ответил:

— Пернатая Змея — символ Вселенной. Она одна, другой нет. Пока существует мир, существует и Пернатая Змея. Твой отец освободил Пернатую Змею от волшебных оков и взял ее с собою, когда создавал Солнце Дня. И повелел ей обвить землю там, где небесный свод покоится на земной тверди. Она охраняет нас от злых богов. Ведь они всегда готовы напасть на людей, умертвить твоего отца, погасить солнце и утвердить свою власть над небом. Но твой отец не только смел. Он умен и предусмотрителен. Он знает: Пернатая Змея любит утолять жажду золотистым вином из медвяных рек на краю земли. И Чикованег тревожится: не дремлет ли Пернатая Змея, не забыла ли она свой долг? И когда он видит ее зоркой и бодрствующей, лицо его сияет от радости и вечернее небо окрашивается в пурпур и золото. Но если он застаёт ее спящей, захмелевшей от терпкого вина, он сердится, очи его сверкают от гнева, точно огненные крылья, трепещущие в сумрачном вечернем небе... Придется тебе, юноша, взять с собою в дорогу кого-нибудь другого.

Вдруг из кустов выпрыгнул кролик Туль. Он принялся весело скакать, кувыркаться и беспечно лакомиться сочной травой.

Мудрец с минуту глядел на кролика. Потом улыбнулся и сказал Уачиногванегу:

— Возьми с собою в дорогу кролика Туля, сын мой. Кролик ловко прыгает, он славный, всегда веселый и может тебе очень пригодиться.

Уачиногванег схватил кролика за уши, приподнял и посадил на плечо, и он там преспокойно уселся, забавно помаргивая.

Потом Уачиногванег простился с мудрецом и отправился в путь.

Уачиногванег сделал себе два щита. Один щит, тяжелый, он прочно закрепил на левом плече. Второй щит, легкий, так искусно сплел из полосок древесной коры, что, когда держал его против солнца, солнце виделось темным диском. Копье он не взял с собою, потому что решил идти той же тропой, что его отец. Все злые боги были повержены, и ему ничто не грозило. Разумеется, он охотно захватил бы с собою и копье, чтобы самому сражаться в битвах, но ведь с ним не было Пернатой Змеи, а от кролика Туля какая же помощь в бою? Зато Уачиногванег взял длинное, прочное лассо.

...Когда Уачиногванег как следует снарядился, он отправился на край света. Шел, шел и увидел обрыв. Здесь жил огромный тигр по имени Кананпалеетис.

Тигр вышел навстречу и сказал:

— Не страшись меня, о Уачиногванег. Знай, отсюда твой отец начал свой путь к звездам. Сначала он колебался, прыжок к ближайшей звезде казался ему слишком опасным. Он переминался с ноги на ногу в нерешительности. И там, где он ступал на землю, земля оседала. Я мчался, преследуемый стаей койотов, которых натравили на меня злые боги. И Чикованег спас меня. Его Пернатая Змея растерзала всех койотов. И он разрешил мне поселиться здесь. Я остался тут навечно: стеречь от злых богов тропу от края света к ближайшей звезде. Здесь ты, Уачиногванег, можешь отдохнуть и собраться с силами для дальнего похода. Вокруг

бескрайние прерии. Кролику Тулю есть чем полакомиться в свое удовольствие. А я буду охранять вас от хищных зверей.

Уачиногванег отдохнул, кролик Туль досыта наелся, и они принялись карабкаться на скалу Чабукель. Достигнув вершины, Уачиногванег увидел, что до ближайшей звезды очень далеко, вряд ли можно вскочить на нее одним прыжком. И он приуныл, сомнение охватило его.

Кролик Туль устал за долгое странствие. Он забился в какую-то расселину и заснул. И спал так крепко, что Уачиногванег не мог его добудиться. И очень огорчился, потому что остался без спутника.

Но Чикованег увидел своего сына в печали и, сжавившись над ним, направил сверкающий солнечный луч в расселину, где спал кролик.

Туль проворно вскочил, забавно подморгнул Уачиногванегу и сказал:

— Я прыгну, а ты жди меня здесь. Если я свалюсь в холодную, черную бездну и она меня поглотит, не печалься. Ты отыщешь себе другого кролика. Их на свете предостаточно, у меня самого множество сыновей, двести сорок, наверно. Выберешь себе самого лучшего и самого сильного. Скажешь, что я велел тебя слушаться.

И ответил Уачиногванег:

— Послушай, Туль, не хочется мне, чтобы ты прыгнул и свалился в холодную, черную бездну. Мы стали добрыми друзьями, не могу я терять тебя. Останемся лучше здесь, на скале Чабукель, и подождем, пока она подрастет повыше. Тогда и прыгать до ближайшей звезды будет легче, чем сейчас.

И ответил кролик Туль:

— Моя жизнь короче твоей, Уачиногванег. Я не могу ждать так долго, как ты. Мне нужно поторапливаться.

И прежде чем Уачиногванег успел ответить, кролик Туль уже прыгнул. Много раз он перекувырнулся в воздухе — был слишком мал для такого прыжка. Только его длинное ухо коснулось звезды. Он принялся отчаянно барахтаться. Но — сорвался...

Однако на звезде рос колючий терновый куст. И когда кролик начал падать в холодную, черную бездну, длинная ветка куста зацепила его за ухо и насквозь пронзила своим шипом. Туль поблагодарил куст. Он вприпрыжку поскакал к вершине скалы. Тут его увидел Уачиногванег, считавший друга погибшим. Уачиногванег поспешно закинул на звезду свое лассо.

Кролик Туль отгадал его замысел, подхватил лассо и закрепил на выступе скалы. И моргнул Уачиногванегу — прыгай!

Когда Уачиногванег вспрыгнул на звезду, он вместе с кроликом Тулем отправился приветствовать ее обитателей. Они подарили ему кусочек своей звезды, правда совсем крохотный кусочек.

Так Уачиногванег двигался от звезды к звезде. И всюду получал по крохотному блестящему кусочку, совсем-совсем крохотному. Но он вполне довольствовался и этим. Потому что Солнцу Ночи незачем быть таким сверкающим и огромным, как Солнцу Дня.

И каждый звездный кусочек он на своем лассо опускал в холодную, черную бездну мироздания, чтобы остудить. И все получилось по его замыслу: Солнце Ночи не так сверкало и не было таким огромным и жарким, как Солнце Дня.

Когда Уачиногванег закрепил на большом щите все кусочки звезд, над землей в непроглядном мраке засияло Солнце Ночи.

Но Уачиногванег хорошо помнил мечту своей матери и знал — не все еще свершено им. Он сказал кролику Тулю:

— Я не могу создать такое огромное и прекрасное солнце, какое создал мой отец — слишком маленькие кусочки звезд мне достались. Отец храбрый воин. Мне не пришлось сражаться. Но я постараюсь быть достойным своего отца и своей матери. Мой отец зажег солнце, которое остается всегда одинаково огромным и прекрасным. Но я сотворю солнце, о каком мечтала моя мать. Свет его будет постепенно увеличиваться, а когда достигнет своего предела, снова уменьшится, иногда же и вовсе померкнет, и люди будут радоваться многообразию мира, любоваться звездами и прелестью сумрака...

И спросил кролик Туль:

— Как же ты собираешься это устроить, Уачиногванег?

Тогда Уачиногванег взял в правую руку свой легкий щит, искусно сплетенный из тонкой коры дерева Маёй, приблизил его к большому щиту и начал медленно-медленно передвигать. И постепенно Солнце Ночи все убавлялось и убавлялось, а потом и вовсе исчезло за легким щитом. Виднелся только его слабо очерченный контур. И тут Уачиногванег снова принялся медленно-медленно передвигать щит. И постепенно Солнце Ночи все увеличивалось и увеличивалось, пока вновь не обрело свою округлую форму.

А на земле мать Уачиногванега Лекилантс видела все это. Она созвала соседей и сказала:

— Теперь можно и умереть мне, супруге доблестного воина и матери сына, который превзошел разумом своего отца.

И Лекилантс склонилась к земле и тихо заснула вечным сном на ее коленях.

Мужчины на руках перенесли тело Лекилантс на вершину самой высокой горы. Там она всегда будет ближе всех людей к своему супругу и своему сыну. Небо укрыло ее вечными снегами.



И первый луч, который Чикованег посылает земле на заре каждого дня, целует голову Лекилантс прежде, чем обласкает всех других людей. И последний луч, который Чикованег посылает земле на закате каждого дня, облакает стан Лекилантс великолепным пурпурно-золотым покрывалом, не сравнимым ни с чем в мире.

А Уачиногванег шагал и шагал и вдруг стал спотыкаться. И люди от этого начали ошибаться в подсчетах времени. Оказывается, виною всему был кролик Туль. Он скакал, путался под ногами, затевая разные игры. Создателю Солнца Ночи это надоело, он устал от проказ кролика и сказал:

— Из-за тебя люди на земле сочтут меня каким-то пьяным ничтожеством. Они не захотят строить в мою честь храмов, откажутся возносить мне хвалу... Я не нуждаюсь в тебе больше, Туль. Ты доставишь мне удовольствие, если сейчас же отправишься на землю, в мире и согласии будешь жить со своей семьей и произведешь на свет больше тысячи сыновей. Я знаю, ночь тебе милее дня, только ночью ты пускаешься на поиски корма. Обещаю ярко светить тебе ночами и предупреждать, когда поблизости окажутся ядовитые гады или койоты. А отсюда тебе

пришло сейчас время отправляться, потому что ты мне мешаешь и от тебя одно только беспокойство.

Кролик Туль уселся, подмигнул Уачиногванегу и сказал:

— Давно я знаю, что людям неведома благодарность, не понимают они и не желают понять, что такое благодарность. Я с этим примирился, Уачиногванег, еще до того, как познакомился с тобой... Но ведь ты сделался богом, в твою честь возводят на земле храмы, ты ведешь счет дней и лет. Неужели даже боги не знают чувства благодарности? Это огорчительно. Я думал, мы друзья, я ожидал, люди будут считать меня если не богом, то хотя бы полубогом.

И ответил Уачиногванег:

— Истинную правду ты говоришь, Туль. Но правда и то, что здесь от тебя мне только беспокойство. Вечно ты прыгаешь у меня на дороге. Так уж сделай одолжение, спрыгни на землю. Большое спасибо за твои труды, за твою помощь. В конце концов я достиг бы своего и без тебя... Это тебе должно быть ясно...

И сказал Туль:

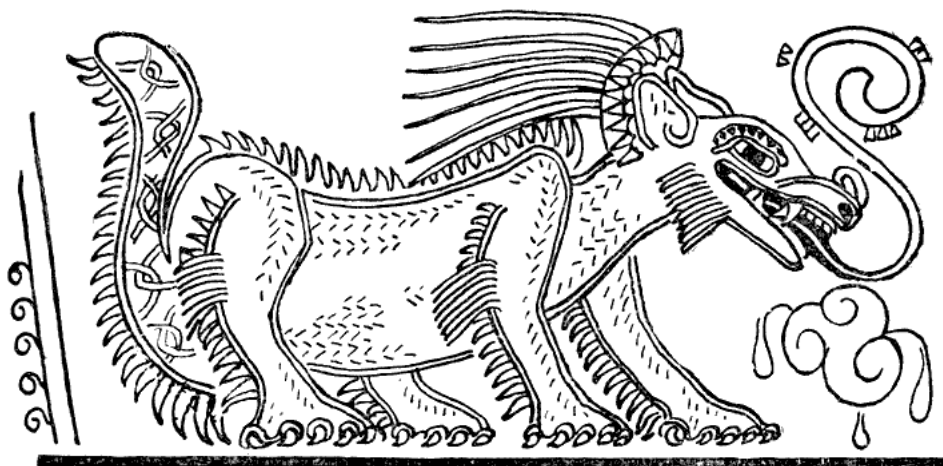
— Не так уж это было ясно, Уачиногванег, в тот день, когда ты стоял у края оврага, где живет тигр Кананпалеелис. Я хорошо видел, как ты переступал с ноги на ногу, точно собирался вытоптать новый овраг. Но я ничего не сказал тебе... Конечно, я могу прыгнуть вниз, на землю. Но теперь я уже стар и больше не могу прыгать так ловко, как мог тогда, когда мы вместе с тобою отправились в странствие, и, если промахнусь, упаду в холодную, черную бездну. А ты не придешь меня выручать. Ведь тебе нельзя отклоняться со своего пути — ты обязан вести счет дней и лет для людей... А если я и не промахнусь, не упаду в бездну, то явлюсь на землю с переломанными ногами. Сколько бы чудесного света ни давал ты мне ночами, кормиться им я не смогу. На земле нужна мне трава, а если мои ноги сломаны, как я найду ее? А если подкрадется койот, как мне убежать от него? А от орла как скрыться в своей норе? Видишь, я и дня не сумею прожить на земле. Так вот, нравится тебе или нет, я буду путаться у тебя под ногами и скакать вокруг, пока это нравится мне или пока ты меня тоже не обратишь в солнце!

Тут Уачиногванег разгневался. Он сгреб кролика Туля за уши, собираясь столкнуть его в бездну Вселенной. Но кролик повернул к нему мордочку, подмигнул забавно и доверчиво и затопал бесстрашными лапками по воздуху. И Уачиногванег вспомнил, как прыгали для него эти дрожащие лапки, как рисковал кролик ради него своей жизнью. И благодарность вошла в его сердце, верность и любовь ко всему живому. С этой минуты он стал другом и покровителем всех любящих и верных.

И сказал Уачиногванег:

— Я только шутил, Туль, когда хотел отправить тебя на землю. Ты останешься здесь со мною навечно в залог моего неразрывного союза со всем живым на земле. Я посажу тебя посередине этого большого щита. И на щите буду носить повсюду, куда ни пойду. И люди на земле будут вечно видеть тебя. Пусть они убедятся, что благодарность и верность, быть может, встречаются редко, но все же не совсем исчезли и всегда заслуживают награды.

Сказав это, Уачиногванег выломал в середине своего большого сверкающего щита несколько кусочков звезд, добытых с таким трудом, и посадил туда кролика Туля. Там его можно видеть и поныне...



Содержание

Р. Белоусов. О Бруно Травене

Пойманная молния

Рождение божества

Сообщники

Странствие Святого Антонио

Обращение в христианство

Макарио

Сотворение солнца. *Индийская легенда*

Для старшего возраста
Травен Бруно
РОЖДЕНИЕ БОЖЕСТВА
Рассказы

Ответственный редактор И.Ф. Скороходова. Художественный редактор Б.А. Дехтерев.

Технический редактор Л.В. Гришина. Корректор В.Е. Калинина.

Сдано в набор 20/VII 1972 г. Подписано к печати 9/XI 1972 г. Формат 60X84¹/₁₆. Печ. л. 7. Усл. печ. л. 6,53. (Уч.-изд. а. 6,8). Тираж 75 000 экз. ТП 1972 №378. Цена 34 коп. на бум. № 2, Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного Комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного Комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, Сушецкий вал, 49. Заказ № 4513.